Виолетта
ХАЩИНСКАЯ

Татьяна
ШУБИНА

ОН ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...





«...Мы считали, считаем и будем считать Анатолия душой и совестью нашей бригады. Мы не просто строили БАМ в таежной глуши, мы жили и живем настоящей полнокровной жизнью. Работать хорошо мы обязаны, но он научил нас понимать прекрасное. Никогда и никто не сможет затмить нам этот яркий всплеск — лично для меня это пример коммуниста, организатора, Человека...»

Из письма Героя Социалистического Труда бригадира Александра Бондаря

Виолетта
КАШИРСКАЯ
Татьяна
ШУБИНА

ОН ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 84Р7
К 31

К $\frac{4702010200-137}{078(02)-87}$ КБ—045—039—86

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.

О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ЖИТЬ

Странные метаморфозы происходят у нас с некоторыми вроде бы вполне привычными словосочетаниями. Они почему-то напрочь утрачивают свой истинный смысл и постепенно приобретают другой — порою прямо противоположный.

К примеру, если о ком-то говорят: «О-о, этот парень умеет жить!..» — мы без всяких дополнительных объяснений понимаем, что, в общем-то, речь идет о жулике, ловкаче. Пусть даже — элегантном, начитанном, хлебосольном, но обязательно — жулике. Иначе эта фраза уже не воспринимается нами, мы уже привыкли только к такому ее смыслу, только к такому ее содержанию.

Так вот, коммунист Анатолий Байков — герой документальной повести «Он вчера не вернулся из боя...» — был человеком, который умел жить! Но он умел жить в том, к сожалению, уже почти забытом нами — самом изначальном и самом настоящем — значении этих слов.

Ему было интересно жить на земле, интересно работать на БАМе, интересно встречаться с людьми, узнавать их, делить с ними радости и огорчения, верить им. Ему было интересно уставать, мечтать, сомневаться, спорить и всегда находить настоящее дело для рук и для души. Он был из тех людей, вокруг которых, где бы они ни находились, сразу же создается

свой особый климат. Климат порядочности, совестливости, активной принципиальности.

Был на строительстве магистрали популярный лозунг: «Мы строим БАМ — БАМ строит нас!» Справедливость этого лозунга понятна каждому. Однако БАМ не только «строил» молодых людей, но и — для начала — всерьез проверял их на излом. Проверял зимой — пятидесятиградусными морозами, ветрами, метелями. Летом — тучами мошки, изнуряющей жарой, затяжными дождями и бездонными хлябями болот. Эти и многие другие естественные трудности входили в заранее заданные условия строительства и были, как говорится, составной частью суровой сибирской романтики.

Но рядом существовала и другая «романтика». Романтика искусственных трудностей, будто бы специально создаваемых самими людьми. Была откровенная бесхозяйственность, неразбериха межведомственных склок и судорожная штурмовщина, приходящая на смену долгим бессмысленным простоям. Все это, увы, тоже было. И со всем этим в процессе строительства тоже надо было вести борьбу. Так что строить БАМ и одновременно «строить себя» приходилось отнюдь не в самых тепличных условиях. Уставали ребята дьявольски.

А тут еще Анатолий Байков предложил организовать самодеятельный театр. И доказал-таки своим друзьям по бригаде всю важность и всю необходимость этого дела.

И вот — вдумайтесь! — вроде бы серьезные, семейные люди, великолепные строители-профессионалы (бригадой руководил Александр Бондарь!) — начинают впервые в жизни репетировать пьесу. И не какой-то легкий водевиль, а «Город на заре» Алексея Арбузова. От работы, естественно, ребят никто не освобождал, и поэтому они репетировали после работы. Репетировали вечерами, порою — далеко за полночь. Репетиро-

вали, как и работали на стройке, — одержимо! И так же одержимо играли.

Что это? Блажь? Бригадный психоз? Стремление прослыть оригинальными?

Да нет же! Все это они делали прежде всего для самих себя. Делали потому, что это было лично им интересно. Анатолий Байков заразил их своей всепоглощающей любовью к театру. И они сначала поверили в Байкова, а потом уже поверили в себя. Таких людей, как он, у нас в народе с давних времен называют подвижниками. Наверное, в отличие от «неподвижников».

Я понимаю, что такого слова в русском языке нет, но зато людей таких — сколько угодно. И конечно, дело тут не в физической неподвижности: двигаются-то эти люди как раз нормально, очень хорошо двигаются, даже суетятся порою. Чересчур суетятся. А речь идет о неподвижности их души, неподвижности мысли, желаний, стремлений. Причины такой «неподвижности» могут быть самыми разными: самодовольство, усталость, лень. Или же знакомая фраза, выражающая целую жизненную позицию: «А мне что, больше всех нужно?!»

Анатолию Байкову всегда и везде было «больше всех нужно».

Не денег было нужно, не тряпок и не квадратных метров жилплощади. А интересного, живого, клокочущего дела. И добровольной ответственности за то, чтобы каждый день, каждый час жизни твоей был прожит не зря, был прожит с пользой для людей. Обо всем об этом и рассказывает документальная повесть «Он вчера не вернулся из боя...».

«Из боя» не вернулся Анатолий Байков. А это означает: остался там, в бою. И в памяти нашей остался.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации... есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели.

А. П. Чехов

Часть I



ДО ТРЕТЬ ПЕТУХ

I

— О чем вы сейчас подумали?

Бондарь посмотрел на корреспондента, поворошил черную с густой проседью бороду, откашлялся; тут почти одновременно щелкнули несколько затворов фотоаппаратов, и голубые всполохи пробежали по лицам, резко обозначая в уголках рта и у глаз глубокие морщины, почти незаметные до сих пор. И теперь с каждой вспышкой он оглядывался на друзей: «Да, постарели мы... Когда же?..»

— Александр Васильевич, так о чем вы сейчас подумали? — корреспондент доверительно улыбнулся. — Кто из нас не мечтал стать героем, а у вас — свершилось...

Обычно Бондарь отвечал на вопросы легко: бамовцы вниманием прессы были избалованы и интервью давать научились... а сейчас бригадир стоял, мялся.

Сегодняшний день у бамовцев прошел в ЦК комсомола, где им вручали награды, самые дорогие для них, вбивших на трассе первые колышки. К вечеру то ли от речей и поздравлений, то ли от торжественной суеты все устали. А может, так бывает, когда большая работа остается позади, когда стремился к финишу из последних сил, когда на смену отчаянному, поминутно рассчитанному ритму приходит отдых? И пока шли в ровном гуле улиц, решая, где бы поужинать, Бондарь был мрачен.

Зашли в «Славянский базар». В банкетном зале — свадьба. Это было уже после стыковки, и молодежь стала перешептываться: «Э! Глядите, Бондарь! Тот, с БАМа, помните, по телевизору...» Пригласили их к столу, тамада сказал: «Вот герой нашего созидательного времени, ему слово!» Бондарь отказывался. Но столько было ждущих глаз. Невеста смотрела на него внимательно, красивая, с каштановой вьющейся прядкой, выпавшей на щеку из-под белой шляпки, обшитой по краю крохотными цветочками. И жених — молодой, с родинкой на переносице, с мягкими пшеничными усиками.

— Ребята! Все у вас великолепно, вы красивые, юные! Люстры в банкетном зале, хрусталь на столе, музыка. Не знаю, за чей счет веселье, но уверен —

родители помогли. А как же иначе, родители нас любят. Мы любимые дети, и они, если надо, последнюю рубашку отдадут, а свадьба, чтоб «пела и плясала» в самом дорогом ресторане. А на БАМе так не бывает. Там я много видел свадеб. Это настоящие молодежные праздники, с гитарами, с карнавалом... Трудно пересказать... Но там люди взрослеют быстро, а тут встретил одного парня, в десятом классе хлопец, а не знает, сколько стоит в магазине буханка хлеба...

Как так получилось, и сам не понимал. Недоволен был этим внезапным учительством, с чего разбрюзжался... Ворочался на гостиничной койке: капель, звонкая, хоть и городская, мешала уснуть. А к утру синица раззвенелась, старалась, как на конкурсе, заходилась тоненько, переливчато.

И он вспомнил весну 1977 года. Звездный. Это было время восхождения, вершину уже видели —вот она, нет, не близко, но чувствовали: сил хватит, даже, грешным делом, казалось, что сил, и физических, и духовных, столько — дайте точку опоры, подниму Землю... В середине января пришло сообщение из Иркутска: «Присвоить звание «народный» самодеятельному коллективу клуба «Таежник». В этот коллектив почти полностью входила их бригада, которую так и называли — театральная.

Паркет не скрипел под ногами, ковровая дорожка плотная, мягкая, он ходил по номеру, не боясь разбудить нижних соседей. Начало зеленеть рассветное московское небо, в вышине летела строчка птиц. Когда в гостинице послышались голоса дежурных, зашумели пылесосы, Бондарь вышел и спросил: «Где можно купить цветы?»

С белыми розами, укутанными в газету, он через несколько часов ехал в поезде «Москва — Соликамск». Ехал в Чухлому, на родину Байкова... Анатолия Байкова.

Когда он покупал цветы, нес их по ветреной улице, оберегая раскрытой ладонью, и потом, в дороге, брал у проводницы банку с водой и устраивал букет поудобнее — за ним следили с понимающими улыбками: люди видели розы, молодого бородача и думали о счастье...

А лежать этим цветам на старом русском кладбище, где на пологом холме под высокими деревьями темнеют железные кресты, блестят алюминиевые пи-

рамидки с остроконечными звездами, за просторной оградой могила знаменитого драматурга прошлого века — Катенина, а теперь неподалеку появился еще один памятник: горящий факел. Его поставили ребята из бригады Бондаря своему товарищу по работе, по театру, своему комиссару.

II

Байков считал этот день одним из самых неудачных, и ему не хотелось даже думать о театре. Все беспросветно, бесталанно — стыдно бесталанно. Но, согревшись чаем и отдохнув в тишине, упорядоченной громким ходом будильника, он засмотрелся, как разноцветно преломляется свет уличного фонаря в бугорках и шишечках ледяных узоров на окне. Стоило пошевелиться, и морозные искры вздрагивали и бежали по стеклу — такой бы занавес для новогоднего балам маскарада: немного света, и все вспыхнет северным сиянием...

Подумав об этом, он опять вспомнил сегодняшний день и разозлился на себя: ребята старались играть честно, в меру своих сил, а он на них набросился. Тяжелая сцена разбора после спектакля — довел Бабу Ягу до слез. А Валентина играла не безнадежно, в ней есть пружина, темперамент. И если что не получается, кто виноват? Бондарь, Графов, Машков, Гирько или он, Анатолий Байков, — режиссер театра, пусть театра народного, но режиссер. И их неудачи — только подтверждение: он сам плохо работает и педагог никакой.

Анатолий повесил клетчатый пиджак на плечики, взял щетку, брызнул на нее водой и принялся зло и энергично отряхивать сукно. Закипела вода в ведре, он поставил на табурет таз, насыпал несколько столовых ложек порошка, замочил рубашки, голубую и белую. Раствор получился густой, и он разбавил его холодной водой. Вместе с водой в таз падали мелкие льдинки, слабо звякали и тотчас исчезали. Он тер воротники и манжеты рубашек, глубокая царапина на запястье саднила: на просеке стегануло веткой, и что-то плохо заживает. На морозе кожа сохнет, сморщивается и ранится легче, чем в теплую погоду... Пена

взошла белым куполом, он дунул на этот купол, и несколько сцепившихся вместе мыльных пузырей пролетели по крохотной кухоньке.

В Гуоджеките, куда они привезли «До третьих петухов», их никто не встретил. Местное начальство терзалось между нехваткой горючего, разморозившейся системой отопления в детском саду и застрявшими где-то в пути ящиками с гвоздями — без горючего, без гвоздей, с закрытым детсадом существовать они не могли, а без народного театра на данном этапе обходились вполне. Короче, из-за всего этого и многого другого ночевали артисты в настылом клубе, кое-как перекусив холодными консервами. Столовая давно закрылась, и оставалась только надежда — завтра после спектакля их напоят чаем перед обратной дорогой.

Сюда от Кичеры автобус полз более пяти часов, приходилось к тому же два раза его толкать в гору, все намерзлись, и он видел: Ваня Машков сидит понуро и осторожно глотает слюну — наверное, болит горло. Бондарь, стаскивая стулья для ночлега, свалил в темноте пыльную громоздкую раму, та с треском упала, и не было слышно, что бригадир сказал, но интонация пояснений не требовала.

Бондарь пнул раму ногой:

— Скажи, Толик, и кому все это нужно?

Он резко обернулся и посмотрел на Бондаря, тот скороговоркой разъяснил:

— Я ж об этой чертовине, — и так на сей раз поддал несчастную раму, что сверху на них посыпалась снежная труха. Там, где они собирались ночевать, часть потолка и стену покрывала снежная бахрома. Досужий ум сравнил бы ее с белым персидским ковром, но если ты целый день трясся в автобусе по пятидесятиградусному морозу и в желудке у тебя застывшие котлеты из частиковых рыб, ассоциации совсем другие.

— Ну, челюскинцы, начинаем зимовье.

— Только на спасенье не рассчитывай.

Он слушал этот диалог и заводился. Ему казалось — никому ничего не нужно, и прежде всего им, его народным артистам, его товарищам по бригаде. Они, как видно, мучаются от холода, им неудобно спать одетыми на стульях, они мечтают о горячих сосисках с горчицей, жареной, хрустящей картошке с

соленым помидорчиком. И никто из них не думает: завтра играть Шукшина. Он прошелся по комнате, окидывая их лица цепким, испытующим взглядом: да, именно о сосисках и, может быть, о блинах со сметаной, если в магазин завезли сметану и они достоялись и купили бидончик.

Володя Графов, осторожно снимавший с валенка ледяную корку, поднял голову и перехватил его взгляд. «Полководец, — с доброй иронией подумал Графов. — В ночь перед сражением». Мысль показалась ему занятной, отразилась улыбкой на круглом мирном лице, как бы нарочно вылепленном природой на роль героя-доброхота; тут были и мягкие беспорядочные кудри, и роговые очки, и здоровый румянец во всю щеку. «Полководец» улыбку отметил, но не постиг истинного ее значения и взорвался. Когда он входил в такое состояние, его немного асимметричные брови делались еще асимметричнее, губы морщились.

— Да, — глухо начал он, — профессиональных артистов встречают по-другому. И чаем отогреют, и полный зал будет, и публика не поленится достать из чемоданов лучшие платья. Все ждут праздника, все на него настроены. А нам предстоит каждого чуть ли не за руку привести в клуб, завоевать каждого; нас не ждали, мы — такие же, как они — рабочие, но мы и другие — мы привезли сюда Шукшина. Василия Макаровича Шукшина. Мы — гонцы...

Валя Гирько перестала тереть ушибленный локоть, автобус дернулся на спуске, и ей показалось, все тело пронзила молния и застряла в руке. Теперь ныл только след этой молнии, и она массировала его.

— Актеры из вас хорошие не получатся... — Валя видела, он волнуется. — Актеры вы слабые, и равняться на профессионалов нет смысла. И не следует. Вы самодеятельные артисты, и не старайтесь подражать никому из профессионалов — будет отвратительно и жалко. Вы должны показать зрительному залу, как самозабвенно, как искренне и честно вы относитесь к труду, которым занимаетесь. И если зритель почувствует в вас эту отдачу, эту самоотверженность, считайте, спектакль удался...

Валя смотрела на него, и удивление, сменившееся было раздражением на его нежелание понять состояние других, оформилось неожиданно: «А все-таки Байков умница».

Под ногами у Вани Машкова что-то зашевелилось. Машков сидел на узком высоком столе и в полутьме только сейчас заметил двух крупных бамовских дворняг. Холод загнал их в жилое помещение, они пробрались поближе к людям, хорошо усвоив законы северного гостеприимства.

Ваня, испытавший перед этим настойчивое желание встать и крикнуть: «Да, я плохой артист. Да, голос у меня хриплый, но я двенадцать часов валил тайгу, а потом по холодрыге тащил на себе эту развалину на колесах...» — видом дворняг смягчился и, цыкнув на них для порядка, отдал им остатки частиковых котлет, накрошив в томат хлеба.

— Зритель будет смотреть на вас, и ваше настроение его захватит. Он захочет и сам испытать все эти чувства — и счастье, и ненависть, и гнев, и любовь, — он задумается над судьбами героев и не заметит, что думает уже о себе. И что-то в себе он поймет по-другому, может, примет решение, которое так долго не мог принять, или просто на какую-то секунду ощутит тишину и покой... Ему завтра, как и нам, гвоздить ломом вечную мерзлоту, рубить лес, он устал, он забывает обо всем на свете. Пусть вспомнит...

«Во Байков загнул, — Бондарь провел рукой по бородке, — постричь пора на скулах и над губой. Нет, Толик, ей-ей, хлопец — молодец... Но хорошо бы теперь баньку, борщику с сальцем, золотистого такого борщику, как мама варила». Думал он об этом уже с юморком, с юморком и сказал:

— И все-таки, Толик, нащо эта хреновина тут стоит?

Байков наконец услышал, что Бондарь шутит, и улыбнулся острой, короткой улыбкой человека, не привыкшего и не умеющего улыбаться.

На репетициях шукшинский спектакль шел слаженно, с большим огоньком. Когда репетиция удавалась, он летел домой на крыльях, бывало, уже и светает, а никакой усталости — такая спокойная, ясная радость. А назавтра все оказывается на нуле, находки и в помине нет, он обманулся, ему почудилось.

Интуицией таланта самодеятельный актер не владеет, а если у него и есть талант, то в потенции, в подсознании, и сколько надо сыграть ролей даже крупному артисту, чтобы научиться в нужную минуту пробуждать в себе эту интуицию. И он, режиссер,

должен найти единственно верное решение в пьесе и натолкнуть на него актера, но сделать это так, чтобы тот все-таки пришел к этой находке сам, иначе не будет вдохновения, иначе не будет развития и человек не сможет пойти дальше.

В профессиональном театре все так же сложно, может быть, и сложнее — и все же профессиональный актер знает и умеет использовать свою природную самобытность, а неподготовленный участник художественной самодеятельности все должен получать из рук режиссера... из его рук.

Он прополоскал рубашки, встряхнул. Они отстирались хорошо, высохнут к завтрашней репетиции. Да, завтра надо еще успеть съездить в больницу. Где достать Юльке мед? Люда вторую неделю дежурит там у ребенка, надо и ей собрать кое-какие вещи. Мысли о меде увели его думы в другую сторону, он посмотрел на стену в кухне — стена промерзла, даже когда печь топится, она не отходит, только больше сыреет. Как тут ребенку не простыть? Ему хочется бегать по полу, а пол ледяной, как в погребе.

На крыльце застучали валенки, намороженные доски загудели, дверь отворилась.

— Спишь, Толь! — Машков прищурил глаза, ресницы заиндевели, на них блестели капли.

— Сплю, — он вытер полотенцем руки и придвинул к столу второй табурет. — Садись.

— Да нет. Я пошел. Вот тебе, — Машков поставил на стол трехсотграммовую баночку меда. — Горный.

Иван Машков всегда отличался особой хозяйственной сметкой, и когда Байков с неделю назад обмолвился, что Юльке врачи посоветовали давать мед, он и бровью не повел, но, вернувшись с вахты, поднял на ноги всех своих знакомых.

— Ну удружил. Я как раз думал, где достать? — Анатолий взял баночку, она была тяжеленькая и теплая. Машков, наверное, нес ее, держа под ватником в руке, а рука у него что надо. Крепкая, большая, не смотри, что невысок ростом, — он весь так и налит силой. Рядом с ним длинный Байков в выносливости явно проигрывал, но думал: лучше умру, чем первый положу на перекуре пилу или лом... И кто, как не Машков, разгадывал это «лучше умру, чем...», и незаметно для него, незаметно для остальных пытался по-

мочь, как помогал ему Байков вечером на репетициях, наталкивая на верный путь... И Машков, смутно ощущая это наталкивание, ревниво въедался в образ и шел дальше сам. Так были созданы два крупных характера — Иван Земнухов и бригадир Потапов. Две удачи Машкова.

И так не спеша завязывалась их дружба, в которой бывали и разлады и которая была скорее даже не содружеством, а пониманием без лишних слов.

Вместе вышли на улицу, Машков поспешил к себе — был уже первый час. А он, прислонившись к дверному косяку, остался подышать.

Густо, низко висело стылое небо Кичеры. Мелкие, лучистые звезды напоминали белые сухие цветы бессмертника, и покалывающий воздух казался их ароматом. Он думал: не видел неба бесконечно долго. Может, это было и правдой, слишком рьяно и деятельно он занимался сегодняшним часом и сегодняшним днем.

III

— Глянь-ко, глянь-ко, Толя, спутник! — Старшая сестра следила рукой по звездам. Он стоял рядом, старательно задирал голову, но видел только бесконечное небо с зеленоватыми и розоватыми звездами. Звезды слегка подрагивали, как бы дышали.

— Ну? Вишь! — Нина настойчиво тыкала пальцем в неизвестный участок Вселенной.

— Над Галичем спутник, поди.

Сестра хмыкнула. Она была старше его и не снисходила до объяснений. Он не терпел, когда над ним насмехались, насупился:

— А то, поди, над Костромой или над самой Москвой.

— Над Чухломой, скажи... — Нина хлопнула дверьми и исчезла в избе. Послышался глухой голос отца, бранившего сестру, что мотается и выстуживает дом.

А Толик с большим прилежанием уставился на небо, но ничего похожего на летящую точку там не было. Подул резкий ветерок, стало еще холодней, и он поплотней запахнул фуфайку.

Кончался 1957 год.

Еще несколько месяцев назад Толик думал, что Муравьище, отстоящее от его деревеньки Галузино на два километра, — это далеко, и завидовал старшей сестре, бегавшей туда в семилетку. Чухлома же, где жила родная сестра матери тетя Вера, казалась совсем уже далеким местом, дальше и больше которой только Москва. Но в сентябре этого года ему дали чернильницу в сумочке на шнурке, деревянную ручку с пером, на котором была выдавлена звездочка, «Букварь», «Родную речь», «Арифметику» — и дорога до Муравьища стала привычным и потому неощущаемым расстоянием. Он понял — это близко. А когда за ужином отец сказал, что в небе летает искусственный спутник, он представил его в виде самолета с фанерными крыльями, только очень-преочень большими. Потом в школе он увидел фотографию крохотного шарика с рожками, и теперь с крыльца избы постигал, что шарик этот летает не просто над землей, как самолет, а где-то там, среди звезд, и понятия «далеко» и «близко» в этой черноте совсем другие.

На ум приходили рассказы старух про Леснуху, которая опять водила кого-то по ближнему лесу, хорошо, что тракторист ехал, нашел «сердешного», а то бы заводила — замерз, и тут же, после Леснухи, сетовали: что-то там кружит над землей, и неизвестно каких бед ждать от этого.

Ему было зябко в заношенной, пропахшей соляркой отцовской фуфайке, голова кружилась от звезд, на которые, чем дольше смотреть, тем больше их становится, но не было сил отвести от них глаз...

В Кичере мороз сухой, но постепенно в нем коченеешь так, что мерзнут даже глаза. Он вошел в дом, погрел руки над печкой, поставил чай, достал свою черную тетрадь... но ничего на сей раз не записал.

Его взгляд упал на баночку с горным медом: неужели где-то на земле существуют цветы и пчелы? Окно завалено сугробом, ветер заносит под дверь мелкую снежную пыль, и приходится подкладывать под щель валик половика. Он обернул банку бумагой, осторожно опустил в карман сумки. В окружающем его мирке был порядок, каждая вещь лежала на своем месте, и этот порядок еще резче выявил его недовольство собой, всю внутреннюю неразбериху... Шел чет-

вертый час ночи, послезавтра с вахтой он уезжал на деляну, чтобы весь световой день валить лес...

«Как многого я не успеваю, прошло три года, целых три года...» — Анатолий полистал свою черную тетрадь: наброски к спектаклям, короткие дневниковые записи — пунктир трех лет его БАМа.

А началось все ранним утром в Усть-Куте. Он сидел на ящике у края вертолетной площадки. Был октябрь, все вокруг уже приобрело зимнюю неподвижность, краски померкли, щетинистые кусты колюче растопырились на ветру. Небо тоже было зимним, напоминало холодную светлую воду, и у берега этой воды плавала одинокая зеленоватая звезда.

Когда его спросили: «Куда поедешь, в Звездный или Магистральный?» — он ответил: все равно. Его привели на вертолетную площадку, где уже было полно народа, кто с сумками и рюкзаками, кто с ящиками, в которых лежали добытые для стройки дефициты. Его провожатого сразу кто-то окликнул, и тот, прощаясь, пожал руку: «Сиди. Куда будет первый борт, туда и двигай. Специальность у тебя, студент, дефицитная, везде нужна». И Байков сидел и смотрел на зеленоватую звезду. Звезда была слишком спокойной — это не могла быть его звезда.

Появился борт, и, когда они уже поднялись, из разговора попутчиков Байков понял, что летит в Звездный.

Осенью 1974 года в Звездном появлялось много новых лиц, но почему-то его приметили сразу. Может, из-за роста — парень высокий, стройный, а может, и светлый плащ тому причиной?!

В американском наставлении про деланье карьеры особо подчеркнуто: желающий завоевать любовь мира ни в коем случае не должен выделяться внешне, чтобы каждый — и хозяин, и сослуживец, и наемный рабочий — почувствовал в нем своего. Насколько это верно? Оставим на искушенное усмотрение западного социолога, тем более что Байков понятия о нем не имел, а появился в конце октября в этих местах в одном плаще, хоть и на подстежке, по глупости и немного из упрямства. Октябрь в Чухломе, конечно, не самый знойный месяц, но его прохладные утренники никакого беспокойства не вселяют: обласкает солнечным лучом уверенный полдень, в непогоду надежно укроют

прогретые веками бревенчатые стены родного дома. В Звездном совсем другое дело. Над улицами, врезанными полками в крутую сопку, в октябре висит морозная мгла. И хотя по здешним понятиям это еще не снег и не мороз — пробирает до самых костей. Вот когда вспомнил Толя мудрые советы тети Веры. Но теплая одежда далеко, вдаваться в ощущения да в сожаления — последнее дело, надо действовать!

По Звездному он шел, подгоняемый ветром. Скоро полдень, но ни тепла в воздухе, ни красок в окружающем пейзаже не прибавилось. Анатолий спросил, где тут начальство, ему сказали, как лучше пройти. Вокруг стоял шум, напоминающий строительную площадку, — что-то стучало, двигалось, гремело, и он много раз отступал в сторону, пропуская машины.

В бревенчатом доме без всяких ведомственных препон почти круглосуточно работали плановый, производственный отделы, машбюро, отдел кадров, тут же на жестком стуле за школьным письменным столом располагался и начальник строительно-монтажного поезда (СМП) Петр Петрович Сахно. К нему-то первому и пришел Анатолий Байков. Сахно не без интереса посмотрел на вновь прибывшего: «Вот и культура к нам подалась...», а вслух сказал: «Ищи коменданта, устраивайся с жильем, если получится... Тут у нас с этим пока напряженно... А в клуб оформляйся кем хочешь — сплошные вакансии».

Сахно был занят строительством, которое, в свою очередь, состояло из такого количества всевозможных непредвиденных обстоятельств, что он и сам порой удивлялся, как, несмотря на все объективные трудности, дело движется, и движется, кажется, успешно. И подтверждением, что дело движется, был визит этого высокого, немного хмурого парня, заявившего:

— На строительстве нужен клуб не как место, где можно посмотреть кино, постучать каблуками на дискотеке, это все вторично... Клуб нужен, чтобы люди могли объединиться вокруг искусства, стать хозяевами своей жизни...

Петр Петрович положил тяжелую ладонь на пухлую папку и тут мельком увидел, как спускается со ступенек новоиспеченный завклубом. Сахно едва приметно улыбнулся, сейчас этому парню предстоит первый экзамен: он увидит летний сарайчик с кинобудкой, непригодный даже для того, чтобы зимой там

«крутили» кино, не говоря уже о самодеятельности, вечерах и далеко идущих планах «по накоплению строителями духовных богатств». Вчера Петр Петрович проходил мимо: две сквозные двери поскрипывали на ветру, на крайних скамьях лежал снег с обледеневшими крестиками птичьих следов.

Коменданта Анатолий не нашел и сразу пошел смотреть клуб... Стало ясно, с чего начинать. И начал он с хождения по начальникам и складам: в результате появились доски для сцены, экран, скамейки. Дали и людей в помощь, хоть и неохотно, после ругани. График комсомольских субботников он составил сам. Добровольных помощников тоже нашел сам: встретил земляков (если и тесен мир, то это на БАМе), а у земляков нашлись друзья, а у друзей земляков свои земляки — так и пошло-поехало.

На шестой день после приезда Байкова Сахно увидел на фанерной доске афишу, сообщавшую: в клубе будет кино. Петр Петрович присвистнул и оглянулся, нет ли кого, кто уличит его в мальчишестве. Нет, было пусто, летел косой снег, черно-белая лохматая собака смотрела на него внимательно и покачивала хвостом. «Да, кстати, надо спросить, как он устроился», — подумал Сахно и, захваченный круговоротом дня, забыл, не спросил.

А завклубом спал пока на чужой койке, на месте парня, уезжавшего в Усть-Кут в командировки. Когда хозяин возвращался, приходилось устраиваться на полу.

Вечерами в брезентовой палатке жарко топилась буржуйка, на веревках, протянутых над кроватями, сушились ватники, рубашки, кто-то бренчал на гитаре: «Сырая тяжесть в сапогах, роса на карабине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Письма не жди, письма не жди, дороги...», кто-то ползал по полу, искал пуговицу. Анатолий уже в который раз принимался писать письмо, но ему мешали, толкали под локоть: «Давай, слышь, в клубе бильярд и теннисный стол поставим?» Когда уже все улеглись и только красным пятном дрожал огонь за открытой дверцей буржуйки, Анатолий понял, что сегодня ничего не напишет...

Ему казалось, с тех пор, как он уехал из Чухломы, прошло бесконечно много времени. Тоня Голянова, комиссар отряда имени XVII съезда ВЛКСМ, ездила с

новым культработником по бригадам и запомнила, что он переговорил почти с каждым. Кем работаешь? Что делал до БАМа? Как проводишь свободное время? После таких разговоров Байков что-то помечал у себя в записной книжке. «Писатель... Похоже, он тут долго не продержится...» — Тоня мерзла и постукивала ладонью о ладонь. Она повидала многих и знала: сначала все жарко хватаются за дело, а потом постепенно вянут, энергия их сходит на нет, и только немногие умеют сразу взять правильный темп и рассчитать себя надолго.

Анатолий потянулся, опустился на кровать. Было поздно, в палатке стоял разноголосый храп, и он шепотом сказал себе: «Спокойной ночи, брат. Сегодня можно и поспать».

Десять дней, проведенных в Звездном, напоминали марафонский забег. Приехал в конце октября, Ноябрьские праздники на носу, как поселку со средним возрастом жителей до тридцати обойтись без клуба? И сооружение из досок стало на глазах преображаться в добротный, утепленный дом.

Весьма уважаемый в своем кругу снабженец, чье имя на трассе было хорошо известно, появился в эти дни в Звездном по делам. От его цепкого взгляда не ускользало ни новое бревно, лежащее у вагончиков, ни выкрашенные зеленой краской венцы на окнах конторы, ни возня, затеянная молодежью возле сарая с кинобудкой.

Проходя мимо клуба, он остановился — ребята активно сбивали подмостки, маленький рыжеватый парнишка согнул гвоздь, чертыхнулся, отшвырнул его. Снабженец подобрал гвоздик, покрутил его в пальцах, подошел к парню: «Выпрями, пробросаешься!» Рыжий поднял голову, перед ним стоял уже немолодой мужик в меховом кепи из серебристо-серой нерпы, в потертом тулупе, брюки заправлены в сапоги. Хотел пошутить: «Откуда, папаша?», но почему-то сдержался, взял гвоздь, начал его ровнять.

— Это же Шалямов! — объяснили ему, когда человек в тулупе тяжело зашагал вниз по улице. — Честный мужик. Хозяин. Интересно, что тут выглядывает.

Эх, спроси об этом у самого Шалямова, вряд ли бы он ответил. Был всю жизнь скрытным, теперь уже поздно меняться. Недавно отметил свое пятидесятилетие, и начала его мучить потребность передать накоп-

ленный опыт другому, молодому и сильному. Но искал он не просто другого — он искал талант. Сметливость, энергия, умение быстро все просчитать, найти ко всему особенный подход — эти-то качества у людей встречались, но часто выходило, что сочетались они с жаждой личного накопления. Брать к себе такого ученика — загубить человека. И Шалямов искал парня чистого, желающего вертеться ради государственной копейки.

6 ноября он появился у клуба за полчаса до торжественного заседания. Развевались по ветру знамена, на новеньких досках висело полотнище «С праздником Октября, строители БАМа!», но внутри еще слышался стук молотка. Шалямов пошел на этот стук, открыл дверь крохотной комнатки и подождал, пока высокий, костистый парень спрыгнет со стула.

— Мне нужен Анатолий Байков. — Шалямов смотрел на хмурое, серьезное лицо сероглазого парня и уже знал: это и есть Байков.

Когда вечером Анатолия спросили: «Слушай, неужели к тебе сам Шалямов приходил? Что ему нужно? Уж не стащил ли ты эти доски для сцены?» Байков помедлил и сказал: «Да так... выяснял». — «Что выяснял?» — «Планы мои на будущее...»

Что ж, все обстояло действительно так: Шалямов выяснял, хочет ли Байков работать вместе с ним.

Байков удивился:

— Я же культработник. Учусь в институте культуры. Да и за клуб взялся потому, что поселку он нужен, а заняться им пока некому. Как только сделаем, обустроим, буду работать с театральной студией.

Шалямов умел слушать и не возражать. Он не стал объяснять Байкову, что первый раз случайно, а второй раз уже намеренно был свидетелем его бесед с начальством и поразился простоте и убедительности его доводов. Стоило посмотреть на этого парня, услышать его глухой медленный голос, и ему верилось — просто нельзя было не поверить. И нельзя было отказать, потому что становилось ясно: то, что он делает сейчас, вот так, «позарез» нужно людям.

— Значит, театр, — Шалямов снял рукавицу, похлопал по новой лиственничной доске: «хороша доска». — А сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— И вы уверены, что знаете себя? И этот театр

именно то, что вам нужно? — Шалямов сдержался, не улыбнулся, понимал, что улыбкой обидит парня. — Ладно, жаль... Но не зарекайтесь, я вам предлагаю настоящее дело. Вы теперь знаете, как меня найти.

Проходя мимо светлого плаща, тощенько висевшего на гвозде, он, не оборачиваясь, спросил:

— Ваш? Хорош для осенней поездки в Париж. Зайдите на склад, я скажу, вам выдадут ватник.

— Мне нормально, в общем, не холодно, — Анатолий больше всего на свете боялся покровительства. — Так что спасибо.

— Что ж, я с вами согласен. Вы не успели замерзнуть, — и Шалямов обвел правой рукой, в которой все еще держал рукавицу, стены клуба.

И вот Анатолий спал, наконец-то спал, потому что 10 ноября, праздничные концерты позади — и ему снился Шалямов. Шалямов предлагал построить возле клуба фонтан, который одновременно был бы и бассейном, а в центре фонтана на постаменте могли бы по нескольку часов в роли скульптур дежурить ребята. И фонтан этот появился, а в середине, в пене брызг стоял Шалямов, почему-то в позе московского памятника Маяковскому. Откуда-то возникли Титов, Голянова, Графов, они громко спорили и предлагали себя на дежурство в фонтане.

От этого крика Байков проснулся, но даже не успел усмехнуться сну, а увидел перед собой взволнованного киномеханика:

— Вот и горит, я побежал, стулья выкинул, портрет зачем-то схватил, а все вопят, ты куда, иди книги бери.

— Какой портрет, какие стулья? — Анатолий сел на кровати.

— Клуб горит, я схватил стул...

Когда они прибежали, клуб уже сгорел, головешки и бревна растащили, чтобы огню не было пищи.

На черном снегу весь в саже стоял Графов, и киномеханик ему рассказывал:

— Выкинул все стулья, портрет со стены схватил...

— Разморозилась система отопления, сбегали за дежурным сантехником, и тот отогрел ее паяльной лампой. Видимо, под обшивку попала искра, тлела внутри, а утром клуб вспыхнул почти разом, — говорил тем временем Графов Тоне Голяновой.

Байкова вызвал к себе председатель постройкома.

— У меня лично к вам, Анатолий Сергеевич, претензий нет, себя вы зарекомендовали отлично, но придется вам съездить в дорпрофсож, там вам подберут что-нибудь. Тут сидеть без клуба нет смысла.

Он вышел на улицу, пуржило вовсю, идти было некуда, в палатке сидеть стыдно — все на работе. Но пошел, сменил дежурного у буржуйки и полдня валандался с печкой. Когда вечером парни пришли со смены, то сомлели от уюта: «Ну, здорово! Э, Толян, оставайся вахтовать, мы тебя в обиду не дадим». А Байков, усердно раскаляя буржуйку, думал, как ему быть, и наконец решил.

Из письма другу: «...долго молчал, были причины — клуб, который с большими усилиями переоборудовали из сарайчика, сгорел утром 10 ноября. Пожар случился по недосмотру, паяльной лампой отогревали систему отопления. Виновники наказаны, а мне было предложено поискать другое место работы, клуба-то в Звездном нет и неизвестно, когда будет. Люди пока живут в палатках, многим вообще спать негде, так что возня с клубом откладывается... Все будто в силу обстоятельств, и поэтому хочется взбунтоваться. Начал бороться: «Клуб все равно нужен, и чем раньше, тем лучше. Мы будем его строить своими силами из разного подручного материала». И многие поддержали, за проект взялся начальник производственного отдела СМП — Виталий Корхов. Представляешь, он пришел на Таюру в составе первого десанта, воткнул в снег лыжную палку, а потом посмотрел на карту и... по пьесе полагалось бы произнести: «Тут будет новый город!», но эта пьеса пока не написана, и Корхов просто сказал: «Пора отдохнуть! Привал!»

Друг читал письмо, в комнату вошла жена, присела на ручку кресла.

— От Байкова? Можно мне почитать? Сейчас во всех газетах: «БАМ! БАМ! БАМ!» — гипноз какой-то.

Пробежала глазами по строчкам, вздохнула и спросила:

— Ты веришь во все это? Пожар, лыжную палку втыкают в чистом поле, люди вместо того, чтобы нормально жить, приходят и говорят: «Мы хотим строить

клуб! Нам нужен клуб!» И начинаются субботники, воскресники, ночные авралы...

А Байков в этом письме рассказывал далеко не все. Не поднялась рука описать тот низкий ледяной день, когда они собрались на субботник, и уже развели костры, и стучали ломами по окаменевшей ноябрьской земле, как со стороны больницы показался парень из бригады Ивана Арекаева. Бригада эта была уважаемой, знаменитой, а уж гитариста, острослова и надежного человека Ивана Арекаева знали все от мала до велика. Прибыл он сюда одним из первых, со съездовским отрядом, был комсоргом, потом бригадиром...

— Эй! — окликнули парня. — Что ж арекаевцев на субботнике нет. Нехорошо...

— Умер Иван, только что... Возвращались с вахты, машина перевернулась. Несколько часов жил...

Занимался поздний зимний рассвет, и ощущение у всех было такое, будто никогда из-за этой мглистой сопки уже не выглянет солнце, не согреет землю и с души никогда не спадет камень. А через час сообщили: умерла и Зиночка Пашинская, повар арекаевской бригады, веселая и красивая девушка. Люди молчали. Пусть нет сил работать, но и уйти невмочь, в такие минуты хочется побыть вместе, слово хоть какое-то сказать или просто постоять молча... Анатолий первым взял в руки тяжелый, обледенелый лом. Работали назло утратам, трудностям, собственной слабости. У некоторых то ли от сильного мороза, то ли от едкого, напитанного соляркой дыма слезились глаза... Разошлись по палаткам только вечером, когда на Звездный опустились густые сумерки.

В тот вечер Анатолий достал из чемодана пьесу Арбузова «Город на заре». «Пьеса в трех действиях», — прочел он и закрыл книжку. Он знал ее почти наизусть и теперь понимал, что в выборе не ошибся. Именно «Город на заре» будет его первым спектаклем на БАМе.

Почти сразу погас свет. Это не произвело никакого впечатления — обычное дело для Звездного той поры. Байков чиркнул спичкой, вспыхнул огненный лепесток над новой, еще не разгоревшейся стеариновой свечой. Несколько секунд лепесток заваливался то вправо, то влево, освещая серьезные лица семерых, собравшихся декабрьским вечером в школьном классе. Температу-

ра была градусов десять, а может, и ниже, поэтому шестеро сидели за партами в полушубках. Седьмой, Анатолий Байков, был в костюме, светлой рубашке и галстуке. Он придвинул свечу поближе и продолжал читать чуть глуховатым голосом.

— «Наши мечты — осуществятся ли они когда-нибудь? Вспомнят ли о нас те кто через двадцать-тридцать лет будет жить здесь, в новом городе? И каким он будет, этот город, который все мы в то лето называли городом нашей мечты?.. Вечереет, медленно расходятся с корчевки ребята. И в лагере зажигаются огоньки — один за другим...»

Ветер наваливался на стекла, и они гудели. Постанывали под упругими ударами стены. Школа стояла над поселком, на сопке, единственное в Звездном каменное здание, и первый напор пурги доставался ей.

Читка шла в полном молчании, а когда закончилась, Тоня Голянова выдохнула: «Кажется, это про нас...»

Свеча оплыла, приобрела таинственность, и при ее потрескивающем огоньке поздно вечером Анатолий записал: «Сегодня, 11 декабря 1974 года, в театральную студию пришли первые шесть человек. Состоялась читка пьесы «Город на заре».

Несколько лет спустя об этом спектакле расскажут драматургу Арбузову, покажут фрагменты, отснятые на пленку. Арбузов вздохнет, покачает головой, отойдет к окну:

— А вы знаете, вот я это посмотрел, вас послушал и вдруг почувствовал тяжесть навалившихся лет. Как они прекрасно молоды, как талантливы! Этот мальчик, режиссер... да, да, Байков! Нет, не только режиссер? Работает в бригаде, на трассе?! Ну, что тут скажешь?! Он правильно сделал, вставив в конец пьесы монолог о своей стройке. Это же замечательно: вписать в героическую драму о прошлом кусочек настоящего. Значит, во все времена правда тянется к правде, искусство — к жизни. И этот Байков — художник, причем смелый, убежденный в том, что его поймут, ему поверят... Нет, я на него не в обиде, мы делаем одно дело... Да, мне бы хотелось о нем знать больше...

...Клуб строился. С клубом очень торопились: приближался Новый год, первый Новый год Звездного. Не сидеть же, в самом деле, палаткам веселому молодому народу, для которого без танцев и веселья

жизнь — не жизнь? Руководители стройки все отлично понимали, но разводили руками: нет пиломатериалов — факт для любого жителя поселка очевидный. Звездный строил жилье, справлял новоселья, народ начал переезжать на палаток в деревянные щитовые дома. Но Байков правдами и неправдами умудрялся добыть материалы для своего объекта.

Ребята беззлобно шутили: «Ты, Толик, старайся, старайся, тебе, брат, без клуба никак нельзя — зарплату платить перестанут...» А на субботники и воскресники шли охотно: во-первых, дело нужное, всех касается; во-вторых, сам Байков торчит на стройке весь световой день. Когда он успел написать сценарий бала-маскарада, так никто и не понял. Да, ни больше, ни меньше, именно бала-маскарада! Костюмированного, со Снегурочкой и Дедом Морозом!

К Новому году здание подвели под крышу, но дело оставалось за сантехниками: в пятидесятиградусный мороз и Снегурочка не развеселит народ в нетопленом клубе.

Страница дневника, 31 декабря:

«Пытались установить несколько печей-времянок и хотя бы немного натопить помещение, чтобы не лопались трубы. Трое суток, днем и ночью, топили эти печи, но мороз делал свое дело, и сантехники все-таки не могли работать. Поселок был готов встретить Новый год в клубе. Все ждали праздника.

Лишь 30 декабря, к вечеру, сантехники поставили на место батареи. В ночь с 30-го на 31-е восемнадцать добровольцев пришли оформлять клуб. В холоде, при двух лампочках, разрисовывали стены, повесили шары, гирлянды и звезды, законопатили щели, все вымыли и выскребли... В пять утра начали наряжать елку. К восьми часам, наскоро перекусив, ушли на работу, в бригады.

Днем попытались запустить систему отопления. Она заработала. И когда, казалось, все уже было позади, одна за другой случились две крупные неприятности. Около шести вечера, когда мы собрались уходить и готовиться к балу-маскараду, вдруг «полетел» один из котлов. Через час половина системы была разморожена. Сантехники, разозлившись, ушли встречать праздник. Лишь одного из них чуть ли не на коленях

уговорили попробовать что-либо сделать. Он разжег котел и попытался пустить хотя бы одну половину. Грела теперь одна батарея из восьми. Тут в клуб пришел пожарник, нашел недостаток в проводке и все «опечатал». Это случилось за час до начала бала-маскарада. Естественно, предупредить двести человек об отмене праздника было невозможно.

Пришлось сорвать печать.

О впечатлениях, крутых поворотах, ощущении бешеной усталости и счастья — писать трудно... Это надо пережить. Жизнь чертовски прекрасна».

Новогодний бал-маскарад помнят все, кто встречал 1975 год в Звездном. А те, кто готовил этот праздник для других и отстоял его, уж точно никогда не забудут. Тем более, по времени урок оптимизма, который преподнес товарищам неукротимый Байков, совпал с другим событием — в театральной студии почти ежевечерне шли репетиции спектакля «Город на заре».

Первые репетиции были довольно гладкими. Сказывались, по всей вероятности, две причины. Близость драматургического материала к жизни и конкретной обстановке и необъяснимое возбуждение, которое они еще не умели обозначить как творческое.

Все исполнители на сцену выходили впервые в жизни. Но они знали — премьеру «Города на заре» 5 февраля 1941 года показал не профессиональный театр, а студийцы московского электрозавода, с которыми работал в ту пору никому не известный молодой режиссер Валентин Плучек. Арбузов и Плучек были не просто друзьями — они были единомышленниками. На даче в Раздорах, где собирались будущие студийцы, до поздней ночи шли споры о путях развития рождающегося коллектива, о репертуаре, о выборе первого спектакля.

Перечитывая записки Арбузова, Байков поражался смелости режиссера и актеров, которые всерьез думали о постановке «Гамлета», но победила мысль о современном спектакле: в начале сороковых годов молодых фанатов театра — заводских ребят — остро волновала тема коллективного труда, верности и предательства, преодоления и победы. Студия осуществила уникальный эксперимент — молодой драматург начал работать над сценарием пьесы только после то-

го, как были сданы пятнадцать актерских заявок-разработок: именно актеры дописали образы своих будущих героев, детализировали их характеры, биографии, взаимоотношения. Тот первый довоенный спектакль рождался в муках. Оформление, костюмы, свет, декорации делали своими руками. Работали по ночам, без всякой дотации, смело отказывались от варианта, который переставал нравиться, и начинали сначала.

С 5 февраля по 20 мая 1941 года спектакль прошел при переполненных залах сорок два раза. А через месяц почти все студийцы ушли на фронт. «Город на заре» навсегда остался единственным спектаклем этого коллектива. Многие артисты погибли, и студия больше не возродилась. Арбузов, издавая потом пьесу, написал предисловие «О моих соавторах»: «В заключение о тех, кто отдал свое сердце студии и не вернулся к нам с фронтов Отечественной войны.

Вечная память, вечная любовь М. Малининой, К. Арбузову, В. Багрицкому, Е. Долгополову, Н. Подымову, Н. Потемкину и всем другим нашим друзьям».

Тридцать три года спустя театральная студия на БАМе ищет и находит «Город на заре» как свою пьесу, в которой они тоже смогут выразить свое понимание любви и подвига, отступничества и стойкости, дружбы и предательства. Но прошли годы, многое переменилось — и Байков обновляет материал, вносит дополнительные монологи.

Как вдохновенно и легко работалось им в то время. В качестве реквизита приносили в репетиционный класс столы, табуреты и нары из своих же палаток, костюмами служили тулупы, валенки и сапоги, в которых днем топтали снег на просеке — все было своим, обжитым, узнаваемым, и они сами узнавали себя в героях пьесы.

— Стоп! Давайте повторим. Итак, Зяблик взорвал скалу. Оксана, начинай! — Анатолий отступил к стене класса.

Оксана: Довольно! Больше в моей бригаде он работать не будет. Это фантазер и тип! (Уходит.)

Зяблик — Володя Графов — стоит, как бы не слыша ее слов. Он смотрит куда-то в зрительный зал, где ему открылось нечто прекрасное, и не сразу находит слова, чтобы и другие поняли, что это такое. Но вот переводит дыхание: «После работы я возвращаюсь в

свою палатку и вижу, что ребятам скучно; они ничего не видят, кроме этой скалы. И вот я начал составлять карту будущего города... Согласно моему плану я взорвал эту скалу! И теперь по вечерам каждый из вас увидит перспективу будущего города — широкий Амур, полное звезд небо и луну, которая льет свет на площадь Фомы Кампанеллы, где согласно моему проекту мы установим памятник великому утописту... И когда на следующий день наша бригада выйдет на корчевку, она даст двести процентов плана!»

— Ей-ей, молоток! — Иван Машков хлопнул Графова по плечу. — Я таким Зяблика и представлял.

Иван играл Жмелькова, «тульского колхозника, впоследствии начальника лесорубного участка». И ролью своей гордился:

— Такие, как Жмельков, — основа основ. Он мужик работящий, спокойный, от тягот житейских никуда не прячется, работает ровно, с настроением — на плечах таких мужиков Россия выросла.

И все соглашались — Жмельков, вот он — фундамент. Но уже на первых репетициях, когда начал проявляться образ Зяблика и его будто бы фантазии по-особому освещали все дела первостроителей Комсомольска, понималось: трудно корчевать, трудно вбивать сваи в вечную мерзлоту только тогда, когда не видишь общего результата труда — города Твоей Мечты. А Зяблик тот человек, что видел, умел видеть и в самой, казалось бы, сложной ситуации, когда у сильных и выносливых кончались все физические силы, мог тихо сказать: «А все-таки город будет. И проспект Карла Маркса, и площадь Фомы Кампанеллы...» И хотя это было сказано тихо, как бы для себя, в это верилось, и эти тихие слова придавали силу.

Байков так ушел в работу, что не замечал — наступил март, снег начинает темнеть, лед на Таюре стал зернистым, фиолетовым у берегов. Все это он, конечно, видел, но впечатления оставались чисто внешними, зрительными, потому что весь он был переполнен клубом и репетициями «Города на заре».

Как-то к нему зашел писатель из Москвы.

Анатолий нахмурился. Не любил он раззванивать о делах, которые только-только начинаются. Но тут же подумал: надо рассказать о ребятах, ведь те, кто смотрит «Город на заре» по телевизору или в театрах больших городов и общается с природой только на

пригородной даче, вполне могут считать: Зяблик — атавизм. Такие люди остались там, далеко, в первых пятилетках.

— Володя Графов приехал на БАМ из Орла. Прорвался через все медкомиссии. Его браковали, говорили, у вас — большой минус, с такой близорукостью физические нагрузки противопоказаны. Но тот, кто очень-очень хочет, своего добивается. Так, наверное, бежали на фронт мальчишки в сорок первом, и когда их останавливали, увещевали: нельзя, могут убить, и вас, слабого, близорукого, в первую очередь, — они так смотрели на врачей, что врачи вспоминали, что, кроме кровяного давления, мускульного сокращения сердца и всех прочих органов, им хорошо известных, есть в человеке нечто...

Володя очень точно определил Зяблика: он реализуется не в гибели, не в единичном подвиге, а в том, что он ни на миг не утрачивал мечты в самых суровых и унылых буднях. ...Не было бы в Комсомольске таких, как Зяблик, — и стройка из великой и трудной превратилась бы просто в мучительную. Точно так же и БАМ: если бы не было на нем ребят и девушек, сообщивших всему делу высокий пафос мечты, не был бы тем, чем стал он для десятков тысяч его строителей и для всей страны.

3 мая 1975 года, годовщину прибытия в Звездный отряда имени XVII съезда комсомола, отметили премьерой «Города на заре». В ролях: Антонина Голянова, Владимир Бочков, Иван Машков, Владимир Графов. Байков из-за кулис с тревогой вслушивался в реакцию зала. Когда Аграновский порвал карту, по которой Зяблик предсказал наводнение, в последних рядах пробасили: «Сволочь!» На возмутившегося никто не шикнул. Анатолий улыбнулся: многомесячную, будничную работу, тревоги, нервное напряжение и сумасшедший, нервный темп ночных репетиций искупает вот эта бесконечная власть театра над человеком. И в какой-то миг поверил: первый бамовский театр, его цель и мечта, уже существует.

Работа только что родившейся студии была замечена. Разумеется, большая критика обошла ее молчанием — по справедливости, должно быть, — но горячо откликнулась бамовская многотиражка, вскользь упомянули об этом событии в Звездном некоторые центральные газеты: «Состоялась премьера» — и все.

Отложивший газету с этой информацией читатель где-нибудь в Москве или Костроме даже предположить не мог, что уже на следующий день студийцы начнут творческие споры по поводу следующей работы, а в зале на задних рядах, стараясь остаться незамеченными, их будут внимательно слушать Бондарь, Огородничук, Макловская, другие ребята, — и этот театр, и его режиссер, немного угловатый высокий парень с негромким, но властным голосом, скоро войдет и в их судьбу.

Это была его первая бамовская весна. С отъезда из Чухломы прошло полгода.

IV

Над Чухломским озером весь день клубились ватные, комкастые облака, по-осеннему хмурые, сыпавшие мелким холодным дождем. Старый, седьмое столетие обживающий эти холмы деревянный городок скоро вымок, потемнел избами, а одно из самых больших на площади — каменное, красного кирпича купеческое здание, в котором размещались магазин, краеведческий музей и Дом культуры, отяжелело, стало как бы меньше под грузом навалившегося ненастья. Анатолий снимался в райкоме с партучета, несколько раз забегал в Дом культуры доделывать неотложные дела, а они не доделывались, не отпускали его: и люди, и дома, и черные днища лодок на берегу у мостков — все держало его вопрошающим взором...

Но вот и собрались на отвальную друзья. Тетя Вера только успевает носить из кухни салатницы, глубокие и мелкие тарелки. В них маленькие, с пупырчатой кожицей, на которую налипли пряности и укропные зонтики, огурчики, соленые грибы, первая, сделанная на пробу, квашеная капуста с клюквой.

— Ставь, Катя, сюда картошку, а жаркое давай на этот край. Ешьте, ребята, что притихли? — Тетя Вера подкладывает то в одну тарелку, то в другую, суетится с винегретом, старается раствориться в заботах. «Жаль, что карасей нет. Знала бы, что такое Толик надумает, то с августа, может быть, припасла». Да, караси здесь замечательные, лучше даже сказать, исторические чухломские караси, копченные в русской печке на ольховых полешках по старинной техноло-

гии. Таких карасей подавали к царскому столу; летели из Чухломы обозы по Московскому тракту, спешили к праздничным дворцовым обедам.

— Вот и карасей на дорогу не поел, — тетя Вера вздохнула, да только ли об этом? Одета она по-праздничному: в черном шерстяном сарафане, воротник блузки отложной, слепит белизной, и держится спокойно, хотя на душе такое творится... Вера Александровна Груздева — человек в Чухломе известный, секретарь райкома партии, но это если по должности, а она к должности еще и личность. Доходит на собрании ее очередь выступать: кто дремал — очнулся, кто думал о своем — начинает вникать в суть дела; и по здешним селам ее знают, ох, знают... Она и раньше бригадира встанет, и в поле на косьбу выйдет — «такой бы кожан да маузер, и на капиталистов напустить — она бы их быстро в коллектив коммунистического труда сформировала», — шутили, бывало, мужики, завидев, как решительно и широко идет Вера Александровна по проселку.

Но несколько дней сама не своя тетя Вера: вздумал уезжать на БАМ племянник. Лишь когда пришел ответ из Иркутска: «Принять можем. Условия проживания — в палатке, подъемные не выплачиваются...», тогда и сказал: «Поеду, тетя Вера. Решил. Вы должны меня понять и помочь, если не будут отпускать».

И не отпускали на всех уровнях: и строго, и сурово, и увещевательно говорили: «Анатолий Сергеевич, никуда вы не поедете!» И пригрозили: «Ваш вопрос заслушаем на бюро райкома партии».

Уже перед отъездом побывал Анатолий и дома, в деревне. Вернулся задумчивый, хмурый.

— Ну что мама, здорова? — была у тети Веры мысль: уж, не передумал ли он, но как спросить, не знала.

— Здоровы и мать, и отец, и у Гали все в порядке, хорошо учится, — он стоял к ней спиной, а ей хотелось, чтобы обернулся, посмотрел в глаза. И он обернулся: — Не сказал я им, тетя Вера, то есть не всю правду сказал. Говорю, что из института посылают, на несколько месяцев. Что зря волновать, пока ничего определенного нет...

Так она превратилась в его сообщника, невольно, но выходило, потворствовала скоропалительному решению: ехать — и все! А может, давно он задумал

свое путешествие? Не сиделось ему на месте: в колхоз как-то отправился, обосновался, стал собирать материалы для спектакля о селе. Мелким, твердым почерком исписал почти половину общей тетради — заметки, наброски, факты, дневниковые записи.

— Скоро премьера? — спрашивали знакомые, но он отмахивался, не отвечал.

— Нет, дипломный спектакль о деревне не получится, — этот разговор был в начале сентября, они сидели на кухоньке, пили чай.

— Ну, время у тебя пока еще есть, выберешь нужную пьесу.

— Да, пока есть, — он поднялся, а она стала мыть посуду, мысли были заняты завтрашним днем, обычными и, как всегда, неотложными делами, потому и не обратила внимания, с каким нажимом сказал он свое «пока».

А ведь через несколько дней после этого он отправит письмо в Иркутск...

И правильно делали, что не отпускали. В Доме культуры, если спектакль или какое мероприятие проводит народный театр, места занимали заранее. И даже стояли, потому что приходили не просто посмотреть сюжет, что за чем (это и по телевизору можно, и кинотеатр — через дорогу), а знали — тут покажут так, что за душу возьмет, вздохнется поглубже, увидишь то, чего не замечал... В Чухломский Дом культуры ходили люди всех возрастов, ходили не только посмотреть, встряхнуться, ходили заниматься в театральных студиях. А студии и для младших школьников, и для старших, и для всех после шестнадцати. Учились в студиях по программе — были факультативы по актерскому мастерству, современной драматургии, работали над произношением, учились гримироваться... И театр народный был — «Современник»... Руководил всем этим выпускник культпросветучилища Анатолий Байков.

Тетя Вера племянником гордилась: он и уважением пользуется, и комсомольский секретарь, и вокруг Дома культуры народ сплотил. Весь город на вечера в парк ходит. Кто кого забыл, заново перезнакомились. Для молодежи танцплощадку сделали — Толик добился. Через газету. Думала, что и ее влияние на него распространяется. Теперь все говорят: «Разубедите его, Вера Александровна! Зачем ему БАМ? Что, в

Чухломе дел нет? С какого края ни возьмись — дыра...»

А разве она с ним не беседовала: и так зайдет, и сяк.

— Женись, Толик. Что, невест в Чухломе мало? Кто глянется, сам выбирай, слова не скажу. И жить где, найдем, если у меня не захотите.

И плакала. Это был последний ее аргумент, плакала молча. Потому что как скажешь: «Страшно мне тебя отпускать, Толик. Привыкла я к тебе. За родного всю жизнь. Помнишь, еще в Галузино учительницей работала, как бежал навстречу с горки... А где речушку перейти, подхвачу, прижму и сама себя обманываю, что мой ты сынок. Может, моим ты и был, уж все секреты, все дела свои ребячьи со мной решал. А начиная с девятого класса мы с тобой и не расставались. Вот только два года в армии, но после армии все вместе... Конечно, занята я, уезжаю в командировки, может, особых нежностей от меня не видел — так вы, парнишки, этого избегаете. Но каждую твою трудность с тобой делила, все, что у тебя запутывалось, пытались вместе к уму привести... Может, не ту девочку все к чаю приглашала, мне она нравилась, а тебе — нет, но тут уж прости...»

— Толик, а как же институт, четвертый курс уже?

— С институтом будет все нормально, тетя Вера.

— Как черничный компот, Витя? — Запотели графины, с холода принесла густой, ледяной. Витя Федоров, Коля Шмелев и Володя Попов — лучшие Толины друзья. В народном театре «Современник» самыми талантливыми считаются. Конечно, из ничего такое мастерство не складывается. Коля Шмелев много работает, даже перерабатывает, недавно прямо на спектакле начался у него сердечный приступ. Но дотянул до занавеса... И какие были аплодисменты. Зрители так ничего и не узнали.

Девчонки, Ирина и Светлана, высокие, одна одной краше, низкими грудными голосами выводили: «Калина красная, калина вызрела, я у залеточки характер вызнала... Характер вызнала, характер ох какой, я не уважила, и он ушел к другой...» За окном на фоне белевших в сумерках стен Успенской церкви темнели ветки рябины.

Вера Александровна и на них — этих красавиц, была в обиде, «характер-то вызнали, а удержать не

удержали», вон Коля женат, и Володя женат. Никуда не едут. Ребятишек растят. Катя Шмелева — Колина жена — молодец, огонь девка. Вот бы такую Толику...

Катя — невысокая, энергичная, с развеселыми карими глазами, всегда была оппонентом Байкова. Все могла переиначить, на всякую мизансцену, на всякое режиссерское решение было у нее мнение, отличное от байковского. Спорили они с ним без конца, и чем больше спорили, тем крепче завязывалась их дружба.

— А что, правильно ты поступаешь, Толик. Я бы тоже уехала... — говорит она, на мгновение взгрустнув, а потом опять успевает и тете Вере помочь, и ребятам подпеть, и разговор поддержать, и звонко расхохотаться тем особенным свежим голоском-бубенчиком, какой бывает у молодых жизнерадостных женщин.

— Толя, — улучив минутку, говорит как бы между прочим тетя Вера. — А может, ты на меня за что в обиде?

Она имеет в виду ту стычку, которая произошла на приеме программы агитбригады. Носился он с этой программой много, репетировали все с большим удовольствием и наконец пригласили местное начальство на просмотр. Играли артисты в самозабвенном пылу, казалось им, что все абсолютно ново, злободневно, и завтра же все будет по-другому, стоит лишь им на эти недостатки указать. Был там и такой момент: приезжает в колхоз лéктор обкома партии, человек надутый, многоречивый, и начинает указывать, наказывать, диктовать, стращать и, главное, — говорит, говорит, говорит... а слушателей дела ждут: на поле, на ферме, — вот выходят ребята, заворачивают лектора в карту и уносят...

— Все, все! — застучал в ладоши один из присутствующих. — Хватит!

Агитбригада замерла. Начался разбор. Ох, и попало Байкову! Как мог — сам коммунист, студент-заочник, режиссер народного театра — подготовить такую слабую, а в идейном отношении безграмотную программу. Над кем он смеется? И что именно тут считает смешным? И почему сценарий никто предварительно не прочитал, и с чем теперь они выступят, потому что с этим, ясное дело, никто им не позволит.

Толя потемнел лицом. Набычился. Глубоко посаженные глаза совсем ушли в тень. Как он отстаивал свою программу, как говорил о необходимости учиться

думать, а некоторые привыкли эту функцию перекладывать на кого угодно, запасаясь на все случаи указаниями, директивами, постановлениями. Все это ничто, если человек не умеет и не хочет сам творчески думать.

И случайно ли, нет, его взгляд встретился с ее взглядом. Она понимала — Анатолий ждет поддержки. Нет, не молит, требует, чтобы она восстановила справедливость. Он чувствовал себя правым по самому большому счету. И она поднялась. Никогда не лгала ни себе, ни другим, бывало, это приносило ей серьезные неприятности, обиды, бывало, из-за этого разрывалась дружба... Она все это тяжело переживала, но солгать не могла, даже если бы очень захотела. И теперь сказала то, что думала. Программа подготовлена «взахлеб», в ней много недоработок, она незрелая, и во многих местах ей как раз мысли и не хватает, именно творческой мысли, той самой, за которую так ратовал режиссер. Одним энтузиазмом и энергией тут не обойтись. Надо все перелопатить, короче, правильно говорили — выпускать такую программу на зрителя преждевременно.

Обычно он мог подчинять себе свое лицо, его выражение, а тут... Неожиданность удара заставила его растеряться, он нервно сглатывал слюну, тяжело дышал... и, утратив обычную сосредоточенную серьезность, выглядел намного моложе своих двадцати трех.

Домой вернулись порознь. Укладывались молча, и спустя какое-то мгновение, уже в темноте Толя глухо пробормотал нечто, что должно было означать: «Спокойной ночи!»

Так продолжалось несколько дней... И теперь тетя Вера выдохнула:

— Толик, прости, если что, но ты меня знаешь, я против своей совести не поступаю, — у нее навертывались слезы, и он поспешил обнять ее за плечи.

— Тетя Вера...

Его позвали в комнату, на кухню вышел Витя Федоров. Все зашевелились, решили погулять по городку.

Так чего же он хотел? Почему уезжал из родной Чухломы, которую неподдельно любил, любил так, что потом всех ребят из своей бригады заразил этим лесным стародавним краем, напитал рассказами о его истории, более того, многих перевозил в гости.

Что может быть прекраснее Чухломы в прогретый

августом полдень. Плыви по тихой, тяжелой воде озера к тишине Авраамиева монастыря, или забирайся в малинные и черничные лесные уголки, или просто поброди по здешним краям, насыщенным травяным запахом сенокоса, высушенного солнцем дерева, отдохни в крестьянской избе на широкой, с протертыми углублениями лавке, полюбуйся резными кружевами на рамах.

Успел ли он, прощаясь с Чухломой, глянуть вниз, на Рыбачью слободку, прошелся ли мимо каменной высокой двухэтажной школы, пропахшей мелом, чернилами, со стертыми еще в начале века крутыми ступенями. Тут он учился в девятом и десятом классах, на просторном пришкольном участке обрабатывал лекарственные растения, втыкал деревянные таблички с аккуратными надписями: можжевельник, облепиха, омела, золототысячник...

Но воспоминания о школе связаны не только с горьковато-терпким запахом опытных делянок. Однажды их классный руководитель Нина Александровна Иванова, работавшая тогда в школе первые после института годы, решила: «Ребята, изучать русскую классическую литературу можно и по книгам, но пережить ее, почувствовать — это счастье вы испытаете только в театре. Будем ставить Тургенева...» И они играли Тургенева, Островского, Пушкина.

Как-то Нина Александровна пришла на генеральную репетицию, вчера они сделали выгородку «Алеко», и сегодня заядлые театралы Чухломы, а также кое-кто из районного начальства, должны прийти на прогон. Но что это?

Все декорации переставлены. Она молча смотрела, наконец нашла в себе силы спросить спокойно:

— Кто это сделал?

— Я, — Толя подошел к ней без страха. — Мне кажется, так будет лучше.

Он учился тогда в девятом классе. Вел театральную студию у младших школьников, а тут занимался сам.

— Верни все на свои места, и побыстрей, пожалуйста.

Нина Александровна в первой четверти этого мальчика почти не замечала. Пришел он из сельской школы, в классе был новеньким, вел себя очень сдержанно. Правда, она обрадовалась его грамотности, писал

он практически без ошибок, лаконичным, по-взрослому выверенным языком. Радость эта была профессиональной, но спокойной. Потом начали готовиться к общешкольному праздничному концерту. Шло по привычному в таких случаях раскладу: ты споешь, а ты сыграешь. А вот эти расскажут, возьмите слова в такой-то книжке. И когда воцарилась полная ясность на первом распределительном этапе, встал новый мальчик и сказал: «Я хочу читать поэму Роберта Рождественского». Его фамилии некоторые даже не помнили, как его, кстати? А, Байков! Во, Байков, дает! Сам вызвался.

— Хорошо. — Нина Александровна ответила после некоторого молчания; успела удивиться, что новенький так заговорил.

После урока она его задержала:

— Знаешь, Толя, — его имя перед этим она посмотрела в журнале. — Я бы хотела прежде послушать ее. Что за поэма?

— «Письмо в тридцатый век». В журнале «Юность»... — Он смотрел исподлобья, но взгляд не прятал.

Нина Александровна «Юность» не выписывала, поэму не читала, но, решив, что зайдет в районную библиотеку, назначила встречу через несколько дней. Эти дни пролетели быстрее, чем предполагала, и вот в пустом классе остались вдвоем с Толей Байковым. Он протянул ей журнал, она глянула и мысленно обмерла. Поэма была слишком большой, к тому же довольно сложной, а на концерте будут малыши. Ее ученик стоял чуть поодаль, щеки горели от волнения, синие глаза (сегодня она впервые заметила их цвет) блестели. Таким его она еще не видела.

— Читай, пожалуйста. Тебе нужен текст? — Она думала, как разубедить его и не обидеть. Как объяснить: вещи, интересные для одного, другому могут быть совершенно непонятны... На дворе дождь переходил в снежок, лампочка отражалась в черных окнах, по стеклам бежали мокрые стежки.

Он начал читать. Вначале она лишь отметила про себя его память. Потом глухой, еще ломающийся мальчишечий голос захватил ее. В местах, где ему не хватало дыхания, он произносил слова высоким полушепотом, а что хотел особенно выделить, с чем был абсолютно согласен и во что был влюблен, под-

черкивал резким движением ладони, по диагонали вниз. Будто в руках у него был короткий меч и этим мечом он рубил головы — одну, вторую, третью — всем неправдам: «Если правду говорить в глаза — мода, — что ж, считайте: я за модой слежу! Отдаю ей дань везде, где возможно... Если Родину свою любить — мода, — с этой модой смерть меня разлучит!»

Он задыхался, шептал, порой разбивал слова на слоги: «Вы, счастливые, живущие в трехтысячном, хоть на миг себе представить должны, как в двадцатом веке — строгое, притихшее — человечество глядит в лицо войны. Почему мне это иногда видится? Почему мне в это иногда верится?.. На последнем берегу — человечество... Позабыты все цари и правительства, позабыты рассуждения о вечности... На последнем берегу — человечество...»

Нина Александровна забыла, что собиралась както осторожно просить его выбрать другое небольшое стихотворение, его волнение передалось ей: «Да сбудется любовь, пронизанная светом! Звенящая над веком, да здравствует любовь! Которой все дано: и мука и горенье! Которая давно перешагнула время!»

Он читал непрофессионально, но не декламировал, он дышал в такт содержанию, строки поэмы рождались в старых стенах чухломской школы как бы впервые, и он был автор этих строк, она — его первая слушательница.

Они сидели несколько минут безмолвно. Он переводил дыхание, смотрел в пол, пол туманился в глазах.

— Да, прекрасная вещь... — Нина Александровна задержала взгляд на своем ученике: что ждет в жизни такого мальчика... таких мальчиков? — Но, Толя, смогут ли ребятишки из начальных классов все это понять?

— Конечно. Они поймут так, как не смогут и взрослые. Дети, мне кажется, умеют схватывать некоторые вещи на уровне подсознания...

— Дети?! — учительница улыбнулась. — Ладно, рискнем!

На школьном вечере ученик девятого класса Байков читал поэму Рождественского в абсолютной тишине актового зала.

— Толя! — тетя Вера шла рядом с ним. Она думала, что еды ему на дорогу хватит, а вот... — Может, теплое пальто возьмешь? Сибирь там.

В ее словах не было ничего смешного, более того, она говорила мудрые вещи, но он снисходительно улыбнулся. Прижал тетю Веру к своему плечу. И друзья его засмеялись. Было весело молодым, здоровым людям, жизнь казалась бесконечной, и куда ни глянь — все обещало любовь и надежду.

Автобус на Галич уже стоял на остановке. Он был грязный, ему приходилось, подпрыгивая на ухабах и шлепая по лужам, ехать долгими часами по дорогам Костромской области. Женщины, туго повязанные платками, в резиновых сапогах и фуфайках, уже сидели по своим местам. Два солдатика, видимо, проезжие, курили на улице. «Это кладбище? — спросил один. — Старинное, наверно?» Спросил он как бы между прочим и ни у кого, рядом был только его товарищ, но подальше — девушка в красном мохеровом берете. Девушка обернулась, посмотрела на солдата — он на нее. «Там похоронен известный драматург прошлого века Катенин. О нем упоминал Пушкин в «Евгении Онегине», — голосок девушки смущенно зазвенел. Ребята присвистнули, якобы от восхищения. Тот, что задал вопрос, оказался порешительней, помог ей внести вещи в автобус. Другой, поморщив молодой лоб, продекламировал: «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый». Но по тому, как прыснула девушка, как сразу за строками Пушкина парни в один голос спросили: «Вы Высоцкого хотите послушать?» — было видно, их юные мысли принадлежат не истории прошлого века, а прекрасному сегодняшнему дню и не менее прекрасному сегодняшнему часу.

Появилась наша компания. Коля Шмелев и Володя Попов чуть впереди, за ними плотной группой Катя Шмелева, Витя Федоров, Толя, Ирина, Светлана... Вид автобуса сразу сделал прощание реальным, и Толя, который был среди ребят центром их небольшого коллектива, отделился, мысленно встал за барьер... Этот барьер был не отчуждением, а чертой между их общим прошлым и его завтрашним будущим, уже совершенно с ними не связанным.

Завтра начнется обычный день, все побегут на работу, вечером Володька позвонит Николаю. «Слушай, а не пойти ли вам с Катериной в гости?» — «К ко-

му?» — поинтересуется Шмелев, уже догадываясь об ответе. «К нам!» — и они рассмеются.

Теперь все у них будет уже без него. «Скорей бы! — подумал он. — Тяжело уезжать».

Заглушая горечь расставания, хохотали пуще прежнего, шутили, отвечали друг другу невпопад, наконец размашисто написали пальцами на грязном борту автобуса: «Чухлома — БАМ!»

Шофер хотел их выругать, вылез, прочитал, хмыкнул, потом посмотрел на часы и шумнул всем, кто стоял на улице: «Поехали!»

Он вскочил на подножку последним, пригнулся под низкими дверцами, помахал рукой. Все. Уехал. Сразу стало и печальней, и легче. Чухлома растворилась на фоне темнеющих дождливых небес так быстро, что могло показаться, прежняя жизнь ему приснилась...

Байков привык предвидеть свою жизнь. Благодаря этому предвиденью он обычно воспроизводил грядущие ситуации до мелочей. А нынче все неизвестно. Куда именно его пошлют, что там он будет делать, как сложится его творческая работа? Надо готовить дипломный спектакль, но о каком спектакле речь, если у него нет театра? Режиссер без театра.

Он ехал на БАМ с небольшим чемоданчиком, в котором лежали пьесы «Город на заре» и «Мой бедный Марат». Так уезжать могут только очень молодые и очень уверенные в себе люди. Но в эти часы он не чувствовал обычной уверенности и, стараясь отвлечься от неопределенных дум, начал прислушиваться к развеселому разговору на заднем сиденье, где устроилась со своими попутчиками девушка в красном мохеровом берете.

— Ну, — говорил один, — мы с Серегой на автостанцию. Там толпа. Читает объявление: «Автобус до Матрешкино уходит в шесть пятнадцать. Но ввиду плохого состояния дорог автобус может застрять и не дойти. Просьба к шоферу претензий не предъявлять». Я Сереге поясняю...

Девушка смеялась, а Байков злился. Чего он ищет? Трудностей? Так их и тут невпроворот...

В окне автобуса мелькали родные места. Тут они лазали по елкам в шабановском лесу с закадычным дружком Юркой Комаровым. Осень теперь там и тишина — слышно, как падают листья и пахнет прелой

подстилкой, укрывающей последние грибы — опята. Но больше всего их на пнях — тверденьких, рыжеватеньких, — брали их прямо в мешки. А станет зима, уже после третьего снега можно бежать на лыжах в Ноговицино.

Юрка Комаров уехал первым, сначала в суворовское, потом в Минск, в инженерное училище. Как они тосковали друг без друга, как спешили на почту отнести очередное письмо. Уже из училища, неустанно оглядываясь в детство, Юрий писал ему: «Здесь тоже отличные ребята, и немало нам предстоит хлебнуть из солдатского котелка — и каши, и радостей, и неудач. Все будет. Но друг детства, настоящий друг детства, у меня один. Понимаешь, когда вокруг много ребят, бывает много товарищей. А мы жили в Галузино вдвоем, так что выбирать не приходилось. Конечно, есть товарищи по школе с первого класса, есть Вовка Комаров, к которому я частенько бегал в Шабаново, Леха Семенов, я тоже ходил к нему, но больше всего и чаще всего я был с тобой. И самый давний, самый надежный друг у меня ты. Один. Так уж получилось. Это немного похоже на объяснение в любви. Наверное, такие излияния чувств были бы более к месту в письме к девушке. Ну и пусть. Пока у меня нет еще такой, которой бы я дорожил так, как дорожу дружбой с тобой. Когда появится, напишу».

Тут звучала и насмешка над собой, и надежда — надежда на родниковую силу дружбы и на встречу с прекрасной незнакомкой... Им было чуть за двадцать, и хоть в дневниках они и писали, что любовь не случается вдруг, — все-таки сердца их были младше рассудка...

Рощица постепенно истончилась, автобус въехал в окраины Галича. Спроси его — о каждом доме, о каждой улице столько вспомнит и расскажет, но скажи сейчас: «Не уезжай!» — покачает головой.

И не мог он вернуться. Все верно, по закону жанра... В русских народных сказках куда отправляется взрослый Иван-царевич? В путешествие. То ли за стрелой, попавшей в самое дальнее болото, то ли за молодильными яблоками, то ли вообще «туда, незнамо куда, найти то, незнамо что». Главное даже не конечная цель пути, не награда за долгие злоключения, а сама дорога, ставшая испытанием на честь, мужество и верность цели. Разве бывает, чтоб герой сказки

вернулся с полпути и решил: останусь-ка дома с отцом, матушкой, так оно покойнее. Тогда не будет ни сказки, ни героя. В былинах воины уходят на врага, и в пути и битвах становятся богатырями, в бродячих сюжетах мировой литературы нет ни одного заметного персонажа, который сыскал бы себе известность, посиживая у порога родной обители. Навстречу своей судьбе двигались Дон Кихот, Тиль Уленшпигель, отважный Роланд...

Уезжал и он, Анатолий Байков, — от деревни детства, Чухломы, от театра «Современник», от своих друзей, уезжал, потому что не мог не уехать. Тесно становилось ему в обжитом и привычном мире.

А то письмо? Было и письмо, точнее, ответ на коротенькую открыточку, полученную в начале сентября «до востребования». Всего несколько строк... зато все ясно. Он пошел тогда на берег озера, забрался в лодку, привязанную в камышах: «...ты искала формулу любви и хотела вписать туда все известные и неизвестные. А у нее формулы нет: тут либо любишь, либо нет. Не стоило долго думать. Уже в том, что это продуманное решение, — есть предательство. Значит, ты покупала... Что ж, или я слишком прост, или мир слишком глуп? Ты хотела все получить, ничего не теряя?! Ты все время боялась потерять хоть что-то; знаешь, полны руки, а уронил какую-то мелочь, потянулся за ней — и все рассыпал... Но, может, тебе удалось и поднять эту малую побрякушку, и не раскатить все, что в руках?!

Адрес? Зачем тебе мой новый адрес? Сейчас я его и сам не знаю, но и незачем писать. Есть вещи, которые не нуждаются в оправданиях».

Когда он опустил это письмо в почтовый ящик, приказал себе: все! Но если бы в жизни все было так просто... Приказ не действовал... По дороге в клуб его встретила другая.

— Завтра уезжаешь? — спросила она как можно веселее. «А я? Я же люблю тебя», — это не вслух, но надо ли, он и так понял.

— Да, уже взял билет, — он улыбнулся. Эта улыбка означала что-то вроде: «Не горюй. У тебя будет все хорошо».

Что такое сюжет одной человеческой жизни, по каким канонам он создается? Почему один уехал, а дру-

гой остался, почему тот промолчал, и это решило его жизнь так, а другой поднялся и сказал, что думает, и его судьба потекла в иное русло? Однозначно и просто напрашивается ответ: сюжет жизни — характер. И тут одно следует из другого, и ничего уже нельзя переиначить. Он не мог спать в поезде, простаивал у окна долгими часами. Ему казалось, раз принял решение, уехал, должен оправдать свой отъезд — и рвался к действию, а длинная нить поезда этого не ведала и медленно ползла через реки, города и полустанки.

Мучила его эта неторопливость и в людях, и в поездах. Стоянки казались непростительно долгими, он мог снести что угодно, но только не простои... Его личное время пробуксовывало.

С детства, а осознанно лет с пятнадцати, Анатолий пронзительно ощутил конечность личного времени, и его ужаснуло не открытие этой неотвратимой конечности, а то, что так мало успевает. Он даже помнил тот миг, когда это чувство отделилось от него и грохотало под мостом, на котором он стоял, грохотало и подпрыгивало товарняком с открытыми, пустыми коробами грязно-коричневых вагонов. Он насчитал их более семидесяти, сбился, вновь принялся считать и опять потерял счет, — а они продолжали набегать, пустые, шаткие, послушные локомотиву и заданности железного пути.

Вот так длинно и порожне может прокатиться и его время... И вторым планом, в подсознании, видел: этот порожняк — символ, и его можно использовать в театре.

Уже тогда мысли неотвязно вели его к театру. В какой день он проснулся и понял, что высказать себя он может только средствами театра? Такого дня не было. Он не думал порознь о театре и жизни. Он представлял спектакль не как иллюстрацию событий, а как возможность высказаться. Причем в идеале, ему хотелось, чтобы каждый сидящий в зале встал и взошел на сцену, и это не смешало бы действия, а только разрушило преграду между вымыслом и действительностью, сценой и зрительным залом, искусством и жизнью, словом и делом. Им владело интуитивное стремление единства всего сущего, а уже потом, став студентом института культуры, отработав не один год режиссером народного театра в Чухломе, он сформу-

лировал для себя мечту — создать театр, зовущий души к самостроительству. Так в дневнике появилась запись: «Мне интересно дать первый толчок, показать человеку дорогу, по которой впоследствии он может идти самостоятельно».

— Ну, что ты маешься? — не выдержал пожилой мужчина со шрамом, перечеркнувшим худое лицо.

— Едем долго.

— Рыбки хочешь? Лещ, волжский, сам вялил. Слыш, дух какой? В Ачинске горячей картошечки прикупил. Бери, не тушуйся. — Почти все время Байков и его пожилой попутчик проводили вдвоем. Моряк-дальневосточник с юной рыженькой женой старались уединиться то в тамбуре, то, не шевелясь, стояли возле окна у купе проводников.

— В отпуске был, у сестры под Ярославлем. Теперь домой, жена сибирячка, иркутская. Сам-то откуда будешь?

Анатолию не хотелось втягиваться в беседу, он переживал непростой период, требующий тишины и одиночества. Но человек, сидящий многие часы напротив, занимал его.

Попутчик разломил картошку, посыпал ее солью, оторвал от леща сочную длинную полоску спинки, положил все это на салфетку, придвинул поближе к Байкову.

— Небось только к кулинарии привык? Простой едой гребуешь? — Пар от картошки, соль, поблескивающая на мягком разломе, острый, волнующий запах вяленого леща разбудили у Анатолия аппетит. Он порылся в портфеле, достал аккуратные свертки и полиэтиленовые мешочки. Соленые огурчики, грибы и пирог с мясом — заботливая рука тети Веры — все было как нельзя кстати.

— Сразу видно, мамка собирала, — попутчик зарозовел лицом. — А то ты молчишь, дикуешь. Видно, думаешь, заложил старикан, в душу лезет. Я, парень, не пью. Гипертония у меня.

Вошел моряк, извинился, поднял полку, достал магнитофон и вышел.

Пожилой мужчина проводил его тоскливым взглядом.

— Вчера все крутил свою машину. Всю душу вытянул. Ночью спать не мог, давило изнутри.

За дверью негромко, заглушаемая перестуком ко-

лес, захрипела плохо записанная пленка Высоцкого.

— Во! Ты эту песню знаешь?

— Какую?

— Друг один погиб, а живой просит у него прикурить.

— Знаю. — Анатолий смотрел в окно, надвигались осенние сумерки, в этих местах они казались ему сиреневыми, и яркие пятна березовых островков вспыхивали, как костры.

— Там еще про деревья?

Анатолий вполголоса напел: «Друг, оставь прикурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые... Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые...»

— Что-то, кажется, напутал, — сознался он.

— Да нет, хорошо, — попутчик отложил огурец. — Тебе все это слова, а мне жизнь. Ты думаешь, чего я в эти места подался. Друг на фронте у меня был с Боготола. На мине подорвался. В Польше уже. А так мы с самого Сталинграда вместе шли.

— Я все смотрел на ваш шрам и спросить хотел. Да неудобно было. Это на фронте? — Анатолий сказал как можно мягче, понимал, разбередила душу попутчика станция Боготол и хриплая магнитофонная лента...

— А сам-то ты с каких мест?

— С Чухломы, с Костромской области еду. Но родился в деревне, в Галузино.

— Выходит, мы как и земляки, что там от Ярославля до вас? Да не живу я там с сорок пятого. Сестра в отцовском дому осталась, я сюда вот подался. Хотел на родине друга обосноваться, да с девушкой познакомился... в Иркутске квартира, сама она оттуда. А дружку-то я жизнью обязан. Шрам у меня этот постыдный. Попал под Сталинград совсем зеленцом, а там, как в аду. Черный дым, грохот, лежу на снегу, все бегут, и я бегу со всеми, а понимать — ничего не понимаю. Вдруг споткнулся, упал, глаза поднимаю — танки фашистские прут. Один прямо на меня, все царапины и вдавлины на нем вижу. Поднялся, назад было шарахнулся, а что-то меня прихватило, повали-

ло, по лицу как полоснет, кровью глаза залило. Я рвусь, а только больней режет, фашист прет, не стреляет, так придавить хочет. Ну тут как громыхнет, меня подбросило взрывом, очнулся — ничего будто, ни в руках, ни в ногах боли нету. Лицо только коркой взялось, жжет... Потом дружок мне и рассказал (с того дня мы и сблизились), колючая проволока в снег петлей вмерзла, я в нее и попался, как в капкан. Очумел и бьюсь, а подорвал танк он. Фашисту уж больно хотелось меня подмять, не заметил Мишатку. «Не дрейфь! Коли в первом бою немного покалечился, то теперь долго цел будешь. Считай, заговоренный теперь. Танк поблизу разорвался, а ты живехонек. А что на лице метина, то и гордость для мужика. Фрицы специально себе лица шрамами украшали, почет им в том виделся». Хотел я на него обиду держать, с фрицами меня равняет, да и позор мой видел, — но не смог. Сам не знаю, с ним я лучше себя обыкновенного делался.

Совсем стемнело, поезд ритмично и споро катился по рельсам. Проводница пришла, спросила, зевая: «Чай будете?» Они взяли четыре стакана. Шрам на лице попутчика уже не казался Байкову тайным, просто война прошла по человеческой жизни, хотела перечеркнуть ее, да не смогла, осилил ее Мишатка с Боготола.

В Иркутске, на вокзале, Анатолий увидел почтовый ящик, и сразу захотелось написать... Рассказать о долгой дороге, о разговоре с попутчиком, и ни кому бы то ни было, а именно ей. И даже сделал несколько шагов к почтовому отделению, нащупал ручку в кармане, но остановился, поглубже вздохнул и повторял про себя: «Все, все, все», — пока шел скорым шагом по привокзальной площади к автобусу.

Деревья стояли безлистые, небо было тяжелым от надвигающейся зимы, но людей, суеты, машин было так много, что никто не замечал ни времени года, ни парня в светлом плаще, с упрямой складкой между широких бровей.

После беседы в управлении культуры он сразу отправился искать здание театра... Новые впечатления обрушивались так стремительно, что вся предыдущая жизнь подалась назад, сжалась, уступая место волнующему, новому для него миру.

V

Рассказывает Людмила Михайловна Петрова, педагог по режиссуре и актерскому мастерству Московского института культуры.

— Мне этот курс особо памятен: он первый, где я была руководителем. Это 1971 год, Толе тогда было 21. Я только знала, это единственный человек у меня на курсе, который работает режиссером народного театра. Тогда он жил в Чухломе, недавно пришел из армии и возглавил народный театр «Современник». Другой студент, имеющий отношение к народному театру, был его участником, остальные же — работники управлений и отделов культуры...

Уже ко второй сессии я заметила, Байков не просто выполняет учебную программу, а целенаправленно и жадно учится. Он знает, что ему нужно и как, все знания идут у него в дело. Я, к сожалению, в Чухломе не была, его спектаклей не видела, но он привозил рецензии в газетах, заметки, посвященные их гастрольным поездкам. Он там поставил двенадцать спектаклей для взрослых и несколько детских. Областная пресса откликнулась на «Иркутскую историю», «Трибунал», «Валентина и Валентину», «А зори здесь тихие», помню, возник диспут о «Пучине» Островского, которую Байков сделал очень интересно, экспериментально.

На третьем курсе в группе случилось происшествие: один студент обвинил товарищей, которые жили с ним в комнате, в пропаже денег. Они останавливались в гостиницах, тот, кто приезжал первым, старался устроить тех, кто задерживался. Наш институт общежития не дает... И когда этот парень обвинил своих сокурсников, такое восприняли как великое оскорбление. Толя пытался разобраться в этом конфликте до мелочей, он не принимал безоговорочно ни одну, ни другую сторону. Было собрание, он вел его, и после этого случая группа назвала его старостой. Он говорит: «Да вы что, это слишком большая для меня ответственность...» Но ребята настояли: «Ты можешь».

А потом на одной сессии я тяжело заболела. Было так плохо с сердцем, что отвезли меня домой прямо с занятий. Но сессия идет, экзамены, а экзамены — это

показ, им надо быть в форме, а у меня нет ни ассистентов, ни помощников: как они будут без меня работать? Я намечала отрывки для репетиций и просила, чтоб они приезжали ко мне вечером и показывали. Комнатка у меня была маленькая в коммунальной квартире, я тогда жила в центре, на Петровке, но они все равно приезжали и показывали. Но как-то не приехали. Я звоню, беспокоюсь. Они говорят: да что вы волнуетесь, Людмила Михайловна? Мы Толю Байкова боимся больше, чем вас.

Толю очень уважали, хотя он был младше многих. Он был авторитетным человеком — сила воли такая, и предельно чистый человек, справедливый во всех отношениях, поразительно внутренне собранный, просто невозможно было его ослушаться, не подчиниться ему. Он не дергал ребят, лишь бы приказать, он все делал осмысленно, обдуманно, каждому человеку находил свое место.

И вдруг на четвертом курсе от Толи нет ни контрольных работ, ни писем. Пауза затянулась, я волнуюсь, написала в Чухлому. Но тут получаю от него письмо с обратным адресом не Костромская область, а Иркутская, поселок Звездный. Вспомнила, он как-то обмолвился: интересно, как там с культурой на БАМе? Но я этому тогда не придала значения. А прочла письмо и оторопела... Затерялось куда-то... Жаль.

«Неужели Толя ради карьеры? О БАМе все говорят, но Толя — и это как-то не вяжется... И бросить в Чухломе народный театр. Свой театр, как можно?» Приехал на сессию: «Толя, как вы могли оставить «Современник»? Вы столько лет проработали с ребятами!» — «Людмила Михайловна, у меня будет театр». — «Толя, вы сейчас просто директор клуба. Кстати, а клуб-то там есть? Или так, условность?» — «Клуб построим, и театр будет...» Говорит, хмурится, вижу — расспросами сыплю соль на рану. Он не принимал необдуманных решений, хотя и не имел обычно привычки с кем-либо советоваться... Думаю, его захватил оперативный простор, возможность начать с нуля, с первого колышка, он искал наибольшего сопротивления всех жизненных обстоятельств. А учился он прекрасно, его тут бы «с руками оторвали», но он не тот человек, который искал удобств для себя лично. Он, может быть, в чем-то и был честолюбив, но это было не главное в нем.

Приезжая в Москву, он целыми днями бегал по театрам. Это его питало. К Таганке относился сдержанно, к Ленкому — хорошо, тяготел по-настоящему к режиссуре Эфроса. Ходили мы на «Дон Жуана» Эфроса, вышли потрясенные, на следующий день смотрели «Человек со стороны» Дворецкого. Пьеса современная, но и тут Эфрос проявил свой почерк. Помню, Толя замолчал, задумался, чуть свою остановку не проехал, а когда возник у нас разговор о режиссуре, сказал: «Можно и нужно обходиться без внешних фокусов. Все эти супервыкрутасы — фейерверк, цветной, холодный огонь, который стремительно гаснет и не скрывает пустоты бездуховности. А нужна такая вот работа, как у Эфроса». Постепенно у нас с ним возник тесный творческий контакт на основе полного человеческого доверия. Мы были единомышленниками в самом высоком смысле этого слова... Когда Толя стал старостой, я поняла — мне не нужно волноваться ни за какие организационные дела, он — мой тыл. Все вопросы жилья, общежития и прочие решал сам, без суеты, а я могла полноценно и творчески работать со студентами.

Вот сцена из курсового спектакля «Погода на завтра» Михаила Шатрова. А это Толя сидит... Снимок получился не совсем качественный, темноватый, но дело не в освещении: все спешили — репетиции, экзамены. И он спешил, приехал на сессию с трассы, работал тогда уже в бригаде Бондаря, неудобно перед ребятами — они там, в палатках... Что примечательно, на нем все тот же клетчатый пиджак, который потом появляется на фотографиях в Звездном и в Кичере...

Когда он приезжал с БАМа, ему тут настоящие пресс-конференции устраивали. Были и вопросы: «В бригаду ушел из-за денег, если честно?!» Он предлагал любопытным посчитать самим, и выходило — как режиссер народного театра он получал около трехсот рублей. А когда стал лесорубом, при своей квалификации больше и не мог заработать. Он был высоким, стройным парнем, но посмотришь на фоне этой бригады, по сравнению с Бондарем, с Ваней Машковым и другими ребятами выглядел худощавым... Есть словечко — видный. Так вот Толя мог бы быть видным. У него приятное лицо, ямочка такая на подбородке, но выражение глаз, я бы сказала, незащищенное. Я, наверно, очень субъективна, но, мне кажется,

это и есть истинная интеллигентность, та душевная тонкость натуры, которая бывает у аристократов духа. Порой он мне казался даже чересчур скромным.

Толя был приглушенного темперамента, невзрывчатого, у него получались роли, где требовалась вдумчивость, глубокая проработка. Он не смог бы сыграть Дмитрия Карамазова, это не для него, а Федю Протасова — смог бы. Особенно ту сцену, где он решает, как ему жить дальше...

Прекрасно сыграл бы Павла Корчагина, там нужен не только выраженный, «выпяченный» темперамент, а именно байковский, духовный, внутренний.

Мне потом многие говорили о конфликтности его характера, что тяжелый он человек. Надо сказать об относительности всяких понятий: то, что на БАМе некоторые считали максимализмом, в нашей группе в институте виделось обычной нормой нравственности. И когда накануне весенней сессии 1976 года, а сессия была последней, у Толи в Звездном произошла крупная неприятность, я очень огорчилась. Появилась какая-то дама, стала жаловаться, что Байков выжимает из людей все соки, по его воле они днюют и ночуют в клубе, не соблюдает КЗОТ, припомнила и пожар в клубе. А они в то время каждый день репетировали «Молодую гвардию» — это его дипломный спектакль. Байков был на БАМе всего полтора года, его новые актеры страшно уставали, потому что целый день работали на трассе, а тут еще ежедневные репетиции — все взвыли... И он сказал: «Идите! И ничего не будет! Все!..»

VI

В конце августа лиственницы внезапно вспыхнули желтизной, теперь даже слабый ветер отряхивал их зыбкие ветки и сыпал сухой иголкой. В воздухе стоял хвойный дух, громче и призывней кричали на болотах птицы — пошел грибной урожай раннего бабьего лета. Наученные первой тяжелой зимой, звездницы прилежно изучали повадки тайги: в записные книжки переписывались рецепты соления и консервирования грибов, ждали первых морозов, чтобы взять сладкую красноплодную рябину, ведрами начесывали брусни-

ку приглядывались к лекарственным травам. Сибирская земля помаленьку воспитывала своего жителя: подкинет ему грибную поляну с тугими, хрустящими на излом боровиками, — а человек, доселе городской, набрал уже ведро, и больше брать — некуда.

«Ты шляпки клади, а ножки бросай, пусть белки подбирают. Надо же им зимовать», — подсказывает товарищ. А тот, кто должен эти ножки бросать, стоит ни жив ни мертв, никогда он не видел таких полян, таких обсыпных крупных, тяжелых ягод, и непонятное чувство, для которого и слов-то у него нет, катит комок к горлу...

Анатолий и Иван Машков поотстали от ребят, соскользнули по лиственничной подстилке в овражек, где извилисто бежал глубокий ручей. Машков напился, встал с колен и посмотрел сквозь ветви, высоко сплетенные на густой синеве небес.

— Ну и красотища! — Иван, балуясь, толкнул Анатолия в плечо. Байков и сам охмелевший от осенних ароматов, просушенной горячим ветерком тайги, весело ответил на подначку, — и они покатились по мху, по листьям, сшибли полное белых грибов ведро. Иван, зацепившись ногой за корень, торчащий из земли, перелетел через Байкова и шлепнулся рядом, уткнувшись во влажное серебро мха. С усердием преодолевая крохотные неровности рельефа, полз черный жук. Иван подул на жука, но тот крепко держался мохнатыми лапками за родную почву.

— А что, Толь, пожалуй, и останусь в Сибири навсегда.

— Представь, — шепотом сказал Анатолий. — Представь, ты сейчас, сию минуту, умрешь. Умрешь молодым, здоровым, сильным, на пороге любви, на пороге всей жизни в прекрасный солнечный день.

— Просто так, вдруг? — Иван, подбиравший грибы, удивленно посмотрел на Байкова. Тот сидел в тени, опершись спиной о ствол березы.

— Нет, не просто так. Тебя расстреляют враги, но, умирая, ты уверен, имени твоего никто не узнает, ты гибнешь не для личной славы...

— Ты о «Молодой гвардии»?

— И да, и нет. В конце концов минута выбора, минута испытания приходит в каждую жизнь. Завтра или послезавтра такое может случиться с тобой, со мной — и надо будет действовать! И каждый будет

действовать сообразно с тем, что накопил за предыдущую жизнь. И ты, играя человека в минуту его испытания, должен показать, с чем пришел он к подвигу...

— Ива-а-н! То-ля!

Они выбрались из овражка, пошли на голоса.

— Знаешь, — Иван отвел ветку. — Я понял, в роль надо врастать, вживаться, все время быть внутри материала... Ты сказал сейчас про смерть, мне в первое мгновение сделалось страшно... И молодогвардейцам было страшно, но только одно мгновение, а потом приходило решение: все правильно, я делаю то, для чего и был рожден. Эта минута — вершина моей жизни, ее смысл...

В эти дни Байков писал на бланке комитета комсомола строительно-монтажного поезда номер 266 в ЦК ЛКСМ Украины: «Дорогие друзья! Сейчас идут репетиции нового, этапного для нас спектакля «Молодая гвардия». Для воссоздания на сцене достоверной атмосферы тех лет, для углубления понимания внутреннего мира героев мы хотели бы установить контакты с оставшимися в живых молодогвардейцами, друзьями и родными погибших, побывать в Краснодоне, в музее «Молодой гвардии»...»

На подготовительном этапе ребята не просто изучали текст романа, они создавали его вместе с писателем.

Когда Фадеева вызвали в ЦК комсомола и предложили написать документальную повесть о героях Краснодона, он отказался: «Я не могу, тем более документальную...» Но документы, три солидных тома, взял и пообещал рекомендовать достойного такой книги автора. Через две недели Фадееву позвонили из ЦК, чтобы напомнить об обещании: «Его нет, — ответили домашние. — Он в Краснодоне». Оказывается, решив бегло просмотреть документы, Фадеев не смог отложить их и спустя несколько дней выехал в Краснодон. И вот пока не написано ни строчки будущего романа, а материалы уже не умещаются на письменном столе. Тут папки с протоколами и заключением комиссии ЦК комсомола, выписки из писем и сочинений Кошевого, Громовой, Шевцовой, несколько записных книжек с предварительными заготовками, а из Краснодона идут и идут письма, люди присылают воспоминания, фотографии, документы.

Чувствуя непомерное давление этого материала,

ответственность перед ним, перед теми, кто ждал эту книгу, Фадеев решил писать произведение документальное и в то же время героико-романтическое.

Из письма Анатолия Байкова другу:

«Ты отговариваешь меня от «Молодой гвардии»... Что ж, твои мысли вполне логичны, но я ставлю ее не только для диплома как такового: она органична для нашего коллектива на данном этапе. Тема ОТЕЧЕСТВА — на той высокой, болевой ноте, которая звучит в минуту испытания — естественно продолжает линию театра, взятую «Городом на заре». Инсценировка А. Алексина по роману «Молодая гвардия» нам подходит, но мне бы не хотелось использовать только материалы инсценировки. Чтобы постичь образ, его надо не сыграть, а создать. Поэтому мы и читаем воспоминания Фадеева, поэтому и нужна поездка в Краснодон. Ребята меня поддерживают, хотя и понимают, что значит взяться за такую вещь. Ты говоришь, что я «отапливаю своей энергией космос и подталкиваю к этому же безвинных ребятишек», заставляя их переворачивать груду материала и напрягаться. Лично я не верю, что любое доброе человеческое усилие пропадает втуне, но это разговор совершенно отдельный...

Перечитал, представил, как ты будешь это читать, и подумал, чтобы понять меня, ты должен сюда приехать, хотя бы в гости. Обещаю, что никогда не пожалеешь...»

В этот же вечер Анатолий писал и на «Мосфильм»: просил прожектор «пистолет», черный бархат... Тщательно оформлял заказ в типографию, там должны были напечатать факсимиле листовки молодогвардейцев.

Была поездка в Краснодон, завязались творческие контакты с музеем «Молодая гвардия». Беседовали с Еленой Николаевной Кошевой, Анастасией Ивановной Земнуховой, с оставшимися в живых молодогвардейцами. Зачем все это для спектакля самодеятельного театра? Они не профессионалы, и никто из них не будет профессионалом, они рабочие БАМа. Они могли бы заслуженно отдохнуть на море, в тепле, но группа ведущих актеров отправляется в октябре в Бухенвальд. «Нельзя играть просто, нельзя играть облегченно, — повторял Анатолий. — Если кто думает, что театр — это развлечение, ему лучше уйти».

После одного довольно жесткого разговора на репетиции Байков не сразу пошел в общежитие, а, скользя по деревянным ступеням, спустился к Таюре. Дул плотный, морозящий ветер, и ему пришлось долго проваливаться в снегу, пока нашел относительно спокойное местечко у старой, разветвленной от самого корня лиственницы. Прижавшись к дереву спиной, он некоторое время прислушивался к ночному гулу и потрескиванию, а потом мысленно представил, что рядом с ним его друг, и даже подвинулся, уступая ему место у шершавого ствола.

— Да, тут неприютненько, — друг поежился, осторожно потрогал свои заиндевевшие усы, подстриженные со всей тщательностью. — Но зато все пропитано надеждами перелицевать землю и вышить индустриальный пейзажик... Но тебе, должно быть, хорошо здесь, ты всегда жил ради «завтрашней радости», а? А вот я бы задохся, мне нужно чувствовать себя в стае, нужно общение: как соль животным — много не надо, а не лизнешь, погибнешь...

— Постоянное общение профессионалов часто скатывается в болтовню или формирует обезличку, ты все время сверяешь свои часы по групповым... Так что мне вполне хватает нашей переписки и сессий... Скажи лучше о репетиции, по-моему начались пробуксовки?

— Брось! Тут нормально, обычная привычка отличника все вылизать и сделать наилучшим образом... Меньше пота, это шибает в нос и неперспективно. Бери пример с промышленности, раньше лампочка горела годами, и кто о ней думал? Теперь через два дня — «пук», иди ищи новую. Появилась потребность, о лампочке думают! А ты год делаешь спектакль. Здесь, в глуши, где сегодня, завтра, послезавтра нужна новая афиша, где все простят пестроту репертуара, где нужен вал, иначе о тебе забудут. Понимаешь, забудут! В тебе и твоих артистах не будет потребности...

— Под потребностью ты понимаешь шумиху?

— Людям искусства это всегда было нужно для куража: реклама, внимание, разговоры, отзывы в прессе. В конце концов, это и есть оценка нашей работы...

— Привычка отличника... Загвоздил ты меня, брат, загвоздил! — Анатолий промерз и побежал наверх, выдувая клубы пара и отчаянно размахивая локтями.

— У нас в Чухломе стоят домища, рубленные и триста, и больше лет назад, стоят — бревнышко к бревнышку. Идешь — любуешься: узоры, подзоры, вензеля, коньки; а каменные стены древние — кладка аккуратнейшая. Или вот дед у меня знакомый был, ему от прадеда семь крошечных костяных фигурок перешло. Прадед из овечьих суставчиков резал, а потом шерстяной подушечкой тер до зеркальной глянцевости. «Дак пять годков он на каждую зверушку клал, пять годков. Все спят, бывалоча, а он при лучине режет, а потом трет...» — «Что же, он тридцать пять лет эти штуки делал?» — «А может, и больше, запамятовал, сколько маманя рассказывала. Дак какое уважение к жизни в энтой мелочи, вот что приятно». Уважение к жизни, брат, или, как ты говоришь, — привычка отличника. Куда мне от нее уйти, от этой привычки, вырос я среди домов, где бревнышко к бревнышку, под присмотром деда игрывал костяными зверушками, у которых были глазки, шерстинки и гладкость такая, что из рук выскальзывали...

В нескольких метрах от общежития Анатолий остановился, попрыгал, а потом пошел медленно, уравнивая дыхание, чтобы не ворваться в комнату, как с марафона. Несмотря на спортивную разминку, не согрелся... А настроение было хорошим, хоть и лег в постель без чая, не поднимать же звон и шум, когда все спят.

Никто из них теперь не думал, что театр — это развлечение. В отдельной папке с красными ленточками были бережно собраны письма от бабушки Олега Кошевого. Она писала по-старчески многословно, но с необыкновенным теплом, ведь они для нее «дорогие правнучки». Мама Олега Кошевого — Елена Николаевна — передала для ребят, участников спектакля, большую коробку шоколадных конфет. Когда она беседовала с Анатолием, ей показалось, что он очень устает, но не могла же она ему сказать: «Береги себя, Толенька!», и только под конец разговора, вздохнув, спросила: «Кушаете вы там хорошо? Не забывайте про здоровье». Анатолий конфеты брать не хотел: «Да что вы, Елена Николаевна!» Но она настояла, а когда он ушел и оглянулся уже со двора, увидел, машет ему сквозь стекло рукой.

Анатолий привез эту цветную коробку «Ассорти», но ребята не могли к ней прикоснуться. Так она и

осталась — целой, с высохшими шоколадными сердечками.

После Нового года репетиции шли каждый день. Байков требовал труда до изнеможения, по многу раз переделывал сцены, мучил актеров разминками, этюдами, индивидуальными уроками, которые даже сверхуравновешенных приводили то в ярость, то в отчаяние.

В феврале 1976 года организовалась новая бригада лесорубов, которую возглавил Бондарь. Их направили на строительство мостов на временной притрассовой дороге: надвигалась весенняя распутица, мостов и мостиков требовалось великое множество, ребята все дальше уходили от Звездного, работали через «не могу», оставаясь на ночлег в таежном зимовье. Репетиции начали срываться, и причины были объективные, но Байков не желал знать никаких причин. Он приезжал с любой оказией на зимовье и репетировал одну сцену, другую прогонял в поселке, а когда узнал, что кое-кто провел ночь в поселке и не пошел на репетицию, вспылил: «Все! Больше в театр не приходи!»

Наконец человеческих сил не стало хватать большинству его актеров, или так им показалось, но почти одновременно они взмолились: «Устали. Приезжаем с вахты — некогда умыться, некогда пуговицу пришить, писем полгода не писали...»

Этот мотив показался созвучным и некоторым новым работникам клуба, которые «мучились под игом Байкова».

— Представьте, — говорила в парткоме одна из его подчиненных дрожащим от слез голосом. — Это иго и вандализм. Анатолий Сергеевич сам не знает покоя и требует от нас бог весть чего. Все его не устраивает. У него меры оценки только «плохо», «очень плохо», «никуда не годится» и «бездуховно». Мы делаем так, как нас учили работать в сети культпросвета, у меня, между прочим, грамот столько, что девать некуда, сколько я всяких мероприятий провела, и всегда на должном уровне. А он все называет формализмом... Намекает на «куриные мозги», у кого это интересно — куриные мозги? Недаром от него и студийцы разбежались, он опасный фанатик.

Анатолий ходил с запавшими глазами, но спасало его постоянное погружение в материал нового спектакля. Все его думы и мечты были посвящены «Моло-

дой гвардии». Он то и дело вынимал записную книжку, рисовал макеты декораций, с Тоней Голяновой обсуждал костюмы. Пусть он поставит «Молодую гвардию» не сейчас, но он все равно ее поставит. Он на том отрезке пути, когда материал «ведет сам». Тоня поддерживала Байкова.

— Слушай, Толя, ну почему бы тебе серьезно не поднять вопрос об этих склочницах в клубе. Таким не место на БАМе.

— Понаедут комиссии, начнется игра с протоколами, заслушиванием, рассмотрением правоты и неправоты сторон. Нет, Тоха, нет у нас времени на все это. Нет времени...

В общежитии, оставшись без Ивана Машкова и Володи Бочкова, Анатолий ощущал незаполнимую пустоту. Вечером думал, вот сейчас они, наверное, напились чая, повесили одежду поближе к печке, чтобы на рассвете натянуть теплую фуфайку, а теперь ложатся спать, пошучивают, кто-то рассказал анекдот, захохотали так, что задребезжало стекло в окошке. Ему давно хотелось к ним, был даже неофициальный разговор в парткоме (до неприятностей в клубе, разумеется), но тогда отказали: «Пусть каждый занимается своим делом». Теперь ситуация резко изменилась: репетиции пробуксовывали, а из клуба все равно надо уходить, потому что ввязываться в перетягивание каната служебной справедливости — это уж явно заниматься не своим делом. Ставки же режиссера народного театра в клубе Звездного не было. Но проситься к Саше Бондарю он не пойдет...

Когда они приехали с вахты, Бондарь сам нашел Байкова. Никакого разговора фактически не было, просто ребята позвали Байкова в бригаду. О театре, о спектакле тактично промолчали, чтобы не бередить его рану. Рассудили: надо дать Толику остыть и оглядеться.

Это письмо он несколько раз начинал, перечитывал и рвал. Есть вещи, которые на бумагу никак не ложатся... Анатолий вздыхал, тер лоб.

«Здравствуйте, тетя Вера! Мне уже давно хотелось, живя в Звездном, поработать на трассе. В августе я подавал заявление о переводе — отказали. В конце концов удалось убедить партком, чтобы меня отпустили в бригаду. И вот с 22 марта я — лесоруб второго разряда. Всю неделю живем на просеке, вдали от по-

селка. Валим лес, строим автодорожные мосты. Отдыхаю душой и телом. Конечно, трудновато было втянуться, но сейчас уже норма, от других не отстаю, хотя сноровки и опыта нет.

Ребята отличные. Достаточно сказать, что из семи членов бригады, пять — участники театрального коллектива, в том числе и Саша Бондарь, бригадир. В этой же бригаде работает и Ваня Машков. Вот и сейчас сидим в избушке посреди тайги и пишем письма при свете двух свечек. Кстати, Ваня все вспоминает, как вы нас встречали в Чухломе, наших знаменитых карасей и тот вечер, что провели мы в нашем доме. Он передает вам, тетя Вера, большой привет, обещает при случае опять нагрянуть в гости.

Институт в этом году думаю закончить, готовлю научный коммунизм...»

— Написал, что я привет передаю? — спросил Иван, заклеивая свой конверт.

— Написал.

— А хорошо мы тогда на Поезде дружбы в ГДР съездили, встречали, прямо как ансамбль «Березку». Помнишь, какой в Тюмени перепляс на платформе устроили? Но, если по чести, в душу мне не Германия, а твоя Чухлома запала. Толь, слышишь?

Байков, опершись на ладонь, спал. Иван глянул на него и вздохнул: «Поздно уже, да».

Все это время Анатолий вечерами был непривычно молчалив, по ночам ребята слышали, как он ворочается и стонет во сне. Но днем был бодрым, не жаловался. Он понимал: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Бондарь принял его в подручные, и Байков едва поспевал за ним. Бывало, к ночи не мог есть, так уставал, и даже во сне видел: падают и падают деревья, беззвучно и невесомо летят к земле, и только под утро возникало полуосознанное чувство тревоги: кончается март, вряд ли уже можно, даже возобновив репетиции, поставить дипломный спектакль к маю.

Не по себе было и остальным членам этой театральной бригады: на полпути заброшено интересное дело, и они, причастные к такой замечательной идее, никогда не смогут ее реализовать, и будут еще долго вспоминать о «Городе на заре», а «Молодая гвардия» — их провал, главное, провал личный, не смогли вытянуть, забросили репетиции... Как-то вернувшись с вахты, Машков увидел, что Анатолий получил из типогра-

фии факсимиле листовок молодогвардейцев. Иван сделал вид, что не понял, что это такое. но пока брал полотенце, краем глаза отметил, как Анатолий завернул их в газету, положил в полиэтиленовый мешок и сунул в тумбочку.

К работе лесоруба Анатолий потихоньку привыкал. «Если тебе плохо, — думал он, — ищи причину в себе самом». И, кажется, он уже угадывал ее: всегда не хватало ему взвешенности, умения правильно распределить силы, разумно, с выгодой распорядиться благоприятными обстоятельствами, которые хоть и не баловали, но иногда бывали. Например, какие знаменитости наезжали в Звездный! Их всегда приводили в «Таежник», рассказывали легендарную историю его строительства, намекали Толе: давай про пожар, про бал-маскарад, про переписку с Арбузовым, про театр, а он бубнил, что не хватает того-то и того-то, не достанешь нужную пьесу, нет репертуарных сборников для самодеятельности...

Однажды неизвестно зачем поведал ответственному товарищу, какие олухи сидят в библиотечных коллекторах: распаковали посылку с книгами, а там несколько десятков учебников по физике для восьмого класса. Одна радость: позабавились ребята — в этом поселке, как, впрочем, и во многих других, только трое не имели среднего образования, а детей такого возраста пока что не было. Анекдот на реальной основе получил резонанс: кого-то взгрели, кого-то пожурили, а Байкову потом, по случаю, напомнили: «Если ты у нас такой умный и на равных с большим начальством шутишь, попросил бы мебель для садика или музыкальные инструменты».

За маленьким оконцем занесенного снегом зимовья потрескивал уже обреченный мартовский мороз, а в избушке было тепло, ребята разомлели, Ваня то и дело оттягивал ворот темно-серого свитера:

— Уф! Жара! Скоро лето... Кстати, послушайте, у меня есть мысль — приближаются праздники. А не начать ли нам репетиции?

Все моментально отложили свои дела, и Байков понимал, что сейчас все ждут его слова. И он, стараясь скрыть прихлынувшую радость, сказал:

— Быть или не быть театру, зависит от вас. Если согласны работать, как надо, без скидок на усталость и ситуации, я готов.

И тут уж никто не отказался, все измучились пустотой, образовавшейся из-за временного простоя студии. Отдельные сцены, монологи прогоняли прямо на вахте, вечерами, благо в бригаде работали исполнители главных ролей. Саша Бондарь играл Валько, Иван Машков — Сережку Тюленина, Слава Огородничук — немецкого офицера, Тоня Голянова — Любку Шевцову.

В апреле, когда основные части были отработаны, начались репетиции на сцене. Это было потрясающее время: настоящая жизнь, казалось, шла именно в театре, все остальное отодвинулось на задний план. Репетировали до двух часов ночи и не уставали. Жесткая требовательность Байкова не только не раздражала — она стала обязательным условием для достижения цели, к которой стремился весь коллектив. Анатолий снова был прежним Байковым — полным энергии, творческих замысов, неожиданных решений, он соскучился по театру и не мог представить, как полтора месяца жил без всего этого. В таком настроении он работал и год назад, когда строил клуб, воевал с морозами, назло зиме и неудачам открывал новогодний бал. Теперь он снова восстал против обстоятельств и был безмерно счастлив, что его поняли, за ним пошли.

Приходилось очень спешить: задумали показать премьеру сразу после Дня Победы.

Телеграмма

Москва, Петровка 12, квартира 6
Петровой
Дипломный спектакль «Молодая гвардия» состоится 14—15 мая тчк Приглашаю вас тчк Байков тчк СР Иркутск 12 11 50 1976

...В Звездный пришла весна. На Таюре спадала мутная полая вода, подсыхала рыжая грязь, обнажался белый настил деревянных тротуаров. В тайге зацветали жарки. Набухли почки багульника. У Байкова это было лучшее время года. В его жизни получалось, что именно весна приносила добрые перемены, и в эту пору особенно остро ощущалась полнота бытия, происходила некая внутренняя подзарядка. Да, этот год — от весны до весны — был едва ли не самым напряженным в его жизни. В час, когда, показалось, нет сил и на самую малую ношу, он добровольно взвалил

на плечи еще большую — и выдержал, получив как награду внутреннее равновесие. А это была уже победа! Байков еще не был уверен, что спектакль получился, но в главном не сомневался — кризис театра миновал, коллектив существует и готов выполнять новые задачи.

В зале не было ни одного свободного места, но знакомых лиц он почему-то не видел, хотя знал — незнакомых быть не может.

...На сцене пять задрапированных колонн, на них — портреты молодогвардейцев. Внезапно в зал врывается шумная разноголосица: в дверях возникают школьники, в руках у одного включенный магнитофон, остальные подпевают и притопывают. Через минуту вся группа оказывается на сцене.

— Ребята, — останавливает их Байков, — сегодня мы пригласили вас не на танцы, мы пригласили вас на спектакль. — И он обращается к зрителям. — Такими же, как эти мальчики и девочки, были молодогвардейцы. Они тоже любили жизнь, умели петь и веселиться, были среди них и озорники. Но пробил час испытания, и они достойно встретили его. Во весь рост... Скажите, ребята, кем могли бы быть молодогвардейцы в наше время? Олег Кошевой?

— Инженером или ученым.

— Ульяна Громова?

— Учителем литературы.

— Любовь Шевцова?

— Актрисой!

...Так начался этот спектакль. В первые же минуты зрители стали его участниками. Затаив дыхание, следили, как схваченные гитлеровцами, обреченные на смерть, но непокоренные герои ведут на допросах неравную борьбу с фашистским генерал-майором Клером. Сцены допросов чередовались с эпизодами подпольной войны. Тогда действие переносилось прямо в зал: вот молодогвардейцы развешивают по городу красные флаги, вот группа Тюленина расклеивает листовки, сводки Совинформбюро... Листовки, напечатанные на серой оберточной бумаге, кружатся в темноте зрительного зала, их подхватывают, бережно расправляют. Кто-то, повернув текст к свету, падающему со сцены, читает вполголоса, и от этого в зале — легкий гул.

Несколько месяцев спустя на странице альбома,



Толя с матерью и сестрой.





У родного дома в деревне Галузино.







В родной деревне. Отрочество.

Вера Александровна Груздева.

Армейские годы.







Студент Московского института культуры.





Одна из улиц Чухломы.

Средняя школа Чухломы, где учился Толя Байков.





Учителя.

Анатолий Байков (крайний слева) с друзьями по чухломскому народному театру «Современник».









Воскресный день в Звездном.

Письма с Большой земли.



«...Сейчас работаем непосредственно на трассе БАМа, доводим ее до завершения, то есть готовим к сдаче: меняем и выпрямляем рельсы, устанавливаем нужные зазоры. Работа для всей бригады новая. Сначала было трудновато, сейчас уже натренировались. Вечерами тем же составом репетируем — делаем новый спектакль. Вчера на репетиции присутствовал режиссер из Иркутска — ему очень понравился коллектив».



Зимник.



Мы пройдем эту снежную лунность,
Мы проложим здесь рельсовый путь.

Только юность свою,
Только юность не забыть и назад не вернуть.
До чего высоки наши ставки!
Те заводы и те города,
Шпалы белые и полустанки —
Это все молодые года.



ARMY



«...Человек, отработавший физически полный световой день, имеющий семью, детей, никогда ранее не занимавшийся самодеятельностью, добросовестно старающийся на репетиции или спектакле, обижается, если при разборе упомянешь о нем в общих выражениях, не сделаешь подробный, дотошный анализ. Он требует не похвал, а критики! Он ощущает себя полноправным членом коллектива и чувствует себя нужным, только если спрос на высоком уровне. Меня удивляет и радует это ОШЕЛОМЛЕНИЕ ТЕАТРОМ. Теперь сердце человека открыто для восприятия глубоких и серьезных вещей в искусстве и жизни.

Работая с актерами-любителями, я вижу, как они по-человечески растут, как дорожат правом выходить на сцену. Внутренний огонь, который не дает им покоя, иногда творит чудеса...»

Беседа с журналистом.

посвященной премьере «Молодой гвардии», возле одной из фотографий Байков запишет: «На пяти спектаклях было разбросано по залу 1500 экземпляров листовок. После спектакля в зале не оставалось ни одной».

Где они теперь, эти полторы тысячи драгоценных свидетельств подвига молодогвардейцев? В семейных архивах рядом с письмами бамовцев? В школьном музее? Среди страниц любимых книг?

Узнав о премьере, написала письмо Елена Николаевна Кошевая: «...спасибо вам, ребятки, за верность традициям, за энтузиазм и целеустремленность, за веру в будущее. Мы, матери молодогвардейцев, благодарны за память о наших детях, кто на рассвете жизни преградил своим сердцем дорогу фашизму и дал возможность нести и дальше, из поколения в поколение гордое звание — Человек!»

В притрассовых поселках «Молодую гвардию» ждали как самый настоящий праздник, и актерский коллектив от спектакля к спектаклю сыгрывался, набирал силу. В конце мая Анатолий уехал в Москву на госэкзамены, а через десять дней они узнали, что их театральную студию не отпускают в Ангарск на областной смотр. Когда пошли выяснять причину, оказалось, нет средств, чтобы отправить группу в сорок человек. Тогда они быстро запаковали необходимый реквизит, взяли билеты на свои деньги и первым же рейсом отправились в Ангарск. Но там им не обрадовались, а, напротив, не скрыли замешательства. «А зачем вы приехали? Нам позвонили, что коллектив из Звездного не прибудет, мы и броню в гостинице сняли».

Итак, все срывалось, стали подумывать об обратных билетах: никому не хотелось даже город посмотреть. Но тут появилась синеглазая девушка, как потом оказалось, инструктор Иркутского обкома комсомола.

— Слушайте, — она бежала к ним и запыхалась. — Участие в смотре вы примете, только показ спектакля завтра, вне расписания, в девять часов утра. А для подготовки сценической площадки и репетиций у вас целая сегодняшняя ночь.

— Ого! — потер руки Иван Машков. — Уйма времени.

— Помощь нужна? — спросила девушка. — Или сами справитесь?

— Нормально. Справимся, — опять за всех ответил Машков и подмигнул синеглазой комсомолке.

И работа завертелась. До двух часов оформляли сцену, около трех ночи приступили к репетиции. В пять утра, при дневном свете, перебрасываясь вялыми репликами, выпили чаю и полтора часа отвели на отдых.

Олега Кошевого играл инженер Олег Минин. Ему в это утро не спалось, но отдохнуть было надо, все-таки от его вклада в спектакль зависело немало. Он прошел в комнату отдыха, там, сдвинув кресла, кое-как устроились ребята, многие успели уже уснуть, а Машков даже похрапывал. Минин, повертевшись на жестких стульях, вернулся в зрительный зал. На предпоследнем ряду, укрывшись с головой плащом, спала Тоха Голянова. Ей досталось, пожалуй, больше других, она не только играла Любу Шевцову, но и была главным костюмером труппы, успевая гладить и приводить в порядок одежду исполнителей.

Минин заглянул в оркестровую яму, увидел там Володю Бочкова, окликнул: «Бочий, спишь?» Тот заворочался, закряхтел, продвинулся на лавке: «Давай сюда, располагайся».

Олег Минин спрыгнул вниз, прилег рядом. «Трудно будет без Байкова, — думал он, пытаясь уснуть. — Как-то уже привык перед выходом на сцену перекинуться с ним несколькими словами. Все же какой я актер, мне подзарядка нужна, но придется работать «на собственном керосине»...»

В девять утра в зале собрались пять членов жюри, остальные стулья были зловеще пустыми, потому что об изменении программы смотра никто не знал. Ребята вышли на сцену бледные, с запавшими глазами, так что большого грима и не понадобилось. Когда Минин говорил свой первый монолог, голоса своего почти не слышал, и вдруг едва поверил глазам: дверь в зале приоткрылась, вошел Анатолий Байков и сел в последнем ряду.

Когда спектакль закончился, члены жюри долго аплодировали стоя. А потом в местной газете появилось сообщение: «Такого эмоционального напряжения, такой самоотдачи исполнителей мы не видели ни

у одного коллектива. Дебют театра из Звездного был настолько удачен, что жюри единогласно выдвинуло его в один ряд с лучшими театрами Иркутской области...»

На Восточно-Сибирской студии снят короткометражный фильм «У Вечного огня». Автор сценария этого удивительного по настроению фильма Федор Пилюгин, работавший тогда в бригаде плотником... Деревянный дом клуба, выходит Анатолий Байков, прикрепляет афишу спектакля «Молодая гвардия». Ветрено, лист заворачивается, и Анатолий прихлопывает его ладонью. «Вот, теперь нормально», — он оглядывается на зрителей без улыбки... На сцене еще отрабатываются узловые моменты спектакля, Анатолий смотрит из зала: с чем-то соглашается, что-то беспрекословно отвергает. Он добивается не бойкой, «резвой» сыгранности: «Думать, не забывайте думать... Нельзя играть наизусть, надо проживать! Слышите, проживать каждую секунду на сцене». В фильме заняты участники второго состава: Любку Шевцову играет Людмила Макловская, генерал-майора Клера — Александр Рапопорт...

Звучит клятва молодогвардейцев:

«...Клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И, если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей...»

На одной из репетиций Байков сказал: «Все пятьдесят человек, занятых в спектакле, должны не просто сыграть чужой подвиг, а, поняв его нравственную основу, совершить свой».

Мелькают кадры фильма «У Вечного огня». Едет на дрезине бригада Бондаря, едут участники спектакля «Молодая гвардия». Треплет ветер русые волосы Анатолия Байкова. У него лицо счастливого человека: все состоялось, вопреки обстоятельствам и неудачам все состоялось. Их театр получил звание народного и отныне будет носить имя — «Молодая гвардия».

VII

Рассказывает Людмила Михайловна Петрова:

После «Молодой гвардии» в коллективе их народного театра было занято уже более ста человек. Когда Байков сменялся с вахты и приезжал в поселок, к нему приходили ребята и просили: «Толя, давай репетировать!» Это его возрождало. Он понял, людям нужна духовно насыщенная атмосфера, работы физической и дефицитных товаров в автолавке — им мало. Вел теперь по две репетиции: и в клубе, и в бригаде, ставил три-четыре спектакля в год, чтобы занять людей в разных местах. А. Н. Островский «Свои люди — сочтемся», Т. Габбе «Золушка», В. Маяковский «Баня», В. Розов «В день свадьбы», А. Гельман «Заседание парткома» — это только 1977 год. И о каждом спектакле можно и нужно говорить отдельно.

Связи с институтом Анатолий не прерывал. Когда летал в Ленинград на творческий семинар режиссеров народных театров, останавливался в Москве, и мы с ним встречались. В общении с коллегами-режиссерами он, конечно, нуждался. Это давало ему ту духовную пищу, без которой трудно работать. На семинаре каждое занятие посвящено какой-то теоретической теме, они ведут собеседование по этой программе, а потом смотрят спектакли ленинградских театров. Анатолий занимался в лаборатории долго, с 1977 по 1983 год.

У режиссера народного театра много времени съедают оргдела. Нужны и декорации, и костюмы, и деньги на оформление — все сделай сам, сам достань; а когда идешь к актерам, ты выжат как лимон. Но они должны видеть тебя здоровым, свежим, оптимистичным, а Толя к тому же работал целый день на укладке пути, выбивал гастроли, готовил пьесу, репетировал, давал спектакли с разными составами... Я не представляю, как у него это получалось, как он все успевал. Они проехали по всему БАМу — его заслуга.

Каждый хочет казаться немного лучше, чем он есть, во всех отношениях, и в профессиональном — прежде всего. Но Толя был именно таким, каким был, он не лез на ходули.

У него на БАМе чудесная библиотека, там много таких книг, о которых я мечтаю. В поэзии ему были

близки Маяковский, Заболоцкий, Уткин, Светлов, Луговской, Рождественский. Все в закладках и пометках у него книги Василия Шукшина, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Василия Белова.

Он много работал с драматургами, сводил своих ребят с авторами пьес, над которыми они работали. Это были Розов, Арбузов, Шатров... Они всегда вели громадную подготовительную работу к спектаклям, а когда мы узнали, что он сделал, чтобы поставить «Молодую гвардию», поняли: это дорогого стоит и не каждому дается.

Сильные люди и сильные личности, справедливые люди и справедливые личности — это его особенно интересовало, в какой-то мере было его идеалом. Вот он поставил «До третьих петухов», считают, в духе «левого» театра, но для него это был эксперимент, чтобы попробовать себя в постановочно-зрелищном жанре. Он получил много оплеух за него, но он хотел поэкспериментировать, а в основном делал упор всегда на углубленно-психологическую работу с актером. Меня спрашивали потом студенты: «Интересный он как режиссер или просто он воспитатель, организатор?» Я говорю: «Ребята, он сумел создать театр, наполнил его идеей и духовностью...» По психологии Толя работал очень глубоко — это важнейшее качество режиссера. Я знаю очень много и самодеятельных и профессиональных театров, где за внешней занимательностью пропадает глубина. Часто эти спектакли пользуются успехом, о них говорят, о них пишут, но это бабочка-однодневка, от которой ничего не остается ни у актеров, ни у зрителей. Один мой выпускник поставил «Утиную охоту», сложный такой спектакль, а поставил ее так, что я в ужас пришла от этого спектакля и от этого студента. Что же он усвоил за пять лет, чему научился? Оказывается, ничего и ничему, с чем пришел — с тем и вышел. А его похвалили... Толин же спектакль «Утиная охота» был глубоким по внутренней линии. Кстати, Зилова играл он сам...

Толя был романтиком, я не боюсь этого слова, романтика — это не только туманы и запахи тайги, это умение хорошо, достойно, без «писка» делать свое дело, радоваться его маленьким пока еще результатам. Романтика, когда не позволяешь себе уставать и распускаться, киснуть, помогаешь другим переносить трудности, хотя тебе и самому очень трудно.

Часть II





VIII

Чухлома Бондарю понравилась; и самое странное, он ее узнавал, никогда не был в этих местах, а припоминались улочки с деревянными тротуарами, белая колокольня на высоком холме, светлая вода в озере. Рассказы Байкова оживали в нем зрительно, и он был в Чухломе уже не случайным гостем, а, казалось, возвращался сюда после долгой разлуки... А потом он сидел в комнате, где жил когда-то Толя Байков, а на столе лежали

письма с БАМа, фотографии, программки их театра, вырезки из газет. Вера Александровна сначала долго рассматривала конверт, потом осторожно вынимала оттуда свернутый листок, пробегала его глазами и подвигала Бондарю: «Прочтите, Саша, вот это. Про свадьбу».

«Здравствуйте, тетя Вера! 2 апреля у меня была свадьба. Жаль, что вас не было с нами. Люда — коренная сибирячка, из Тайшета, выходит, я дважды породнился с матушкой Сибирью...

Погода уже предвесенняя, днем снег подтаивает, и мы мчались после загса на тройке по берегу Таюры навстречу влажному ветерку. Звенели колокольца, атласные ленты развевались в гривах... Встречали нас в клубе, осыпали пшеном — на счастье, откусывали мы от горячего каравая — кто больше, поднесли Люде и «ежовые рукавицы», чтобы держала меня в руках. Много было сказано хорошего, от всего сердца, много песен спето...

Я вам вышлю фотографии. Там, наверно, будет одна, где я — злой. Заставили съесть целую гору блинов, еле управился с ними, а вот дрова у меня прошли на «ура!», напилил для семейного очага с лихвой. Был и сюрприз — вручили нам ключ от квартиры, а когда переступили порог своей комнаты, увидели — она обставлена мебелью. Диван-кровать, шкаф, стол, стулья — обо всем позаботились ребята.

Сижу за этим столом, пишу вам письмо, а Люда то обивку на диване потрогает, то тряпочкой шкаф протрет, то у окна постоит — никак не может поверить, что это наш дом, наш вид из окна...»

Свадьба в Звездном — праздник для всех. Весь день накануне суетились девчонки, шептались, крутились возле невесты. Последней, уже в первом часу, в клубах холодного пара пришла Анка с телефонной станции.

— Люд, еле дождалась смены, покажи платье! Ой, какая фата, легкая...

Кто-то сказал суеверно:

— Нельзя платье всем показывать, пути не будет...

— Ты, значит, не все, а я — все? — Анка скривила губы. — Мели Емеля, твоя неделя.

Люда принесла горячий чай, миролюбиво улыбнулась:

— Да ладно вам...

Анка прижалась к теплой чашке одной щекой, другой:

— Начало апреля, а холодина какой! А вообще-то я в разную ерунду не верю, понавыдумывают: через порог не подавай, полотенце не дари, рукой со стола крошки не сметай... Жуть, язычество! А вот сказали, сойку парень должен убить и принести девушке. Сойка чем провинилась?

Люда слушала и не слушала. Странное у нее было настроение: возьмет что-то, отложит, будто о чем-то подумалось, а о чем, сама не поймет. Встанет, забыв на коленях катушку с нитками, вздрогнет от стука по полу. Завтра свадьба, ее свадьба с Байковым.

— Люд, а Байков точно ни в какие приметы не верит! — Анка повела фатой по воздуху, тонкая ткань взлетела, заструилась, девчонки почти в один голос выдохнули:

— Оставь! Положи!

Люда потрогала цветы на фате, белые, слепяще чистые:

— Была как-то на свадьбе у подруги, вижу, шпилька на полу. Мать подружки меня толкает: «Валя из фаты уронила, подними, сама замуж скоро выйдешь!» А мне стыдно стало, засмеялась и не взяла...

— Видишь, а замуж все равно идешь, — Анка задумчиво посмотрела на фату. — Ну, а шпилек завтра побольше наколи, чтоб всем, кто хочет, хватило.

— Ты первая хочешь, — возник тот самый голосок, что наказывал не показывать платье.

— Я? Мне еще бабка говорила, была бы шея, хомут найдется. — Анка поставила чашку на стол, лизнула указательный палец, попробовала утюг. — Люда, горячий!

— А еще что тебе бабка говорила? — не унималась девчонка, вечно споривша я с Анкой.

— А еще про свадьбу свою рассказывала. — Анка прикрыла глаза и внезапно низким голосом завела. — «Унесла-то, улелеяла, что родимую дочь от матери. Оставлю я тебя, мамонька, на крутом-то, крутом бережке, на горючем-то камешке...» Знаешь, Люд, ты смелая! Я бы замуж за Байкова никогда не пошла, я его боюсь. Когда я его первый раз увидела, подумала: такое лицо может быть у человека, который взбирается по отвесной стене. А как я о нем услышала, ой, ис-

тория! — Анка наклонилась к Люде. — В прошлом году, как только переехала из Магистрального в Звездный, знакомую свою встретила, она в клубе работала. «Ты что такая?» А она жалуется: у нас там война, восстали против зава. Сам ночами не спит и нам спать не дает. Работа идет ненормальная, почти круглосуточная. У многих дети, некоторые их прямо в клубе, на стульях, спать кладут. Я поразилась. Вообще-то на БАМе склок мало, а тут такие страсти. «Кто зав?» Она головой покачала: «Ты его увидишь, фанатик, Байков: «Уровень культработы у вас куриный, так нельзя — два притопа, три прихлопа, никуда вы с этими методами не уйдете!» Нервотрепка страшная, провели уже два профсобрания, тут или он нас, или мы его». — «А если он вас?» Она рукой махнула, говорит: «Я отсюда подамся. К счастью, таких ненормальных не так много, хуже Байкова не будет».

Люда знала об этом, самом трудном для Анатолия времени. Тогда он не стал «уходить» в конфликт, тут и Бондарь помог: в феврале у него образовалась бригада, и он, естественно, сказал: «Да ну их — эти крысиные гонки, пойдем к нам, топором помашешь, кислородом подышишь, все образуется».

И вот восемь лет спустя Бондарь читал письмо о том дне, а Вера Александровна хвалила ему черничное варенье, подливала в большую кружку чай, и разговор их был отрывочен, но они понимали друг друга:

— Толя очень любил мучное, сладкое, пирожки любил...

— Вот я думал, все-таки семьдесят седьмой год у нас был особенный, мы всей бригадой въехали в него на белом коне! Или даже у каждого был свой белый конь. Значит, в январе — звание народного, в марте — премьера «В день свадьбы», 2 апреля у Толи свадьба, а шестнадцатого — «Заседание парткома». Один апрель чего стоит...

— Саша, мы тут вспоминаем Толю, мама его — Люба, сестра моя — и скажет, что я не удержала его, не отговорила. Не уехал бы он на БАМ, жил бы себе, деток растил, и театр его народный, пожалуйста, вот, рядом.

— Тетя Вера, я сам пролежал больше месяца в больнице. Желудок... И сколько ни возвращался мыслями назад, нет, ни одного дня бы не отдал из того, что было. И Толя, насколько я его знаю, пусть бы и

предугадывал, что случится, все равно бы поступил так, как поступил.

Вера Александровна выпила сердечные лекарства, но Бондарь слышал, как она ворочается, не может уснуть. И он лежал без сна в бревенчатом старом доме, в доме, о котором, наверно, часто думал Толя Байков. И внезапно в памяти прозвучал чистый детский голосок, звонко читавший на одной из встреч стихи:

...Мы пройдем эту снежную лунность,
Мы проложим здесь рельсовый путь.
Только юность свою,
Только юность не забыть и назад не вернуть.
До чего высоки наши ставки!
Те заводы и те города,
Шпалы белые и полустанки —
Это все молодые года.

«Только юность свою, только юность не забыть и назад не вернуть...» Как они спали в Звездном в первую зиму — сначала натягивали на себя теплую рубашку и все свитера, какие были, потом ватные брюки, валенки, шапку-ушанку завязывали, шубу сверху и посмеивались: «Хочу туда, где чай растет». Как привыкали к тому, что поселок строится на сопках и приходится день-деньской бегать вверх-вниз с грузами, как яростно кричали на первой отчетно-выборной комсомольской конференции. И Байков тогда выступил:

— Я человек новый здесь и волновался перед собранием, боялся увидеть то же, что и в других местах, — скуку. Я недавно приехал, и если бы вы знали, как сюда рвутся люди. Вы счастливее многих, вы попали сюда, и о вас много шумят, и часто напрасно. Что я увидел здесь? Я видел, как убивают время, как режутся в карты. Видел соревнование: кто больше съест семечек за определенное время. Это невозможно представить, этого быть ни в коем случае не должно!

Парень в растянутом свитере, из-под которого выбился обтрепанный уголок воротника рубахи, крикнул:

— Не это главное, культура! Семечки! Ха! Что мы их в Большом театре плюем? Ты зри в корень: из восьми часов пять простаиваем, материалов нет, вот что людей доводит!

Поднялся гомон: «Механизмы ломаются, новых

нет. Почему комитет комсомола такой тихий? Где «молнии», где их работа? Кого боимся? Комиссия из Москвы приехала, ковровые дорожки в общаге расстелили, а уехала, сразу скатали и в кладовку. Кому очки втираем!!! Много ребят переженились, а где жить?»

— Правильно! — Байков напряг голос, потому что шум не утихал. — Правильно! Комитет комсомола должен постоянно отчитываться за проделанную работу. Усталость не из-за напряженного труда, а от вынужденного безделья, от неразберихи, от суеты. До меня тут выступала Тоня Голянова, говорила, что здесь мы не ощущаем, что нужны! А нам самое важное — это чувство нужности! За этим сюда и приехали, надо ощутить — ты нужен! Ты делаешь все, что можешь! Но и распускаться нельзя, почему многие ходят в мятой, грязной одежде? Да, тут не асфальт, и все же сапоги стоит чистить; да, мы устаем, и все же пуговицы должны быть пришиты — ведь от личной собранности каждого зависит и собранность общего дела!

— Ишь ты закрутил! — попытался возразить парень в растянутом свитере, но осекся, девчонка, недавняя десятиклассница, косыми крупными буквами записывающая слова выступавших, смотрела на свернутый трубочкой уголок его рубахи. Парень крякнул, сел и постарался незаметно затолкать под свитер злополучный уголок.

Поздно вечером, уже после собрания, остался вновь избранный комитет комсомола. Анатолия единогласно назвали заместителем освобожденного секретаря: «Ты коммунист, с комсомольской работой знаком — давай! Не отказывайся!» — «А я и не отказываюсь», — сказал он серьезно.

Бондарь еще не знал, что с этим парнем им вместе работать, но отметил: деловой, горячий. И теперь Бондарь помнил, как Анатолий резко вскочил и энергично, четко произносил слова. Слова его были наэлектризованы, внутреннее состояние тревоги передавалось другим. Было 26 ноября 1974 года. Надвигалась тяжелая звезднинская зима: везде, где жили люди, теплились самодельные обогреватели, в школе ревела реактивным самолетом паяльная лампа, приспособленная к металлической трубе, но нужно было не только выжить, нужно было строить дорогу. Хорошо и добротно строить.

Эту первую зиму они припоминали потом в Кичере, и Байков сказал: «А мы счастливые люди! Знаем, что такое настоящее братство, знаем работу, после которой валишься на койку в мокрых сапогах и нет сил даже повернуться, как упал, так и лежишь, знаем, что такое аплодисменты зрителей... И попробуй отними у нас хоть что-нибудь, сразу — пустота».

В комнату, сжимая темноту по углам, вливался серый свет предутра. «А в Северобайкальске сейчас полдень...» — И Бондарь уснул, потому что вымотался за эти дни, не столько физические — с этим у него было проще: от физической работы он легко отходил, — сколько эмоциональные, нервные перегрузки переживал долго. Уснул Бондарь, где-то внутренне убедив себя, что Байков прожил неповторимо счастливую жизнь, он сам был свидетелем и участником этой жизни — она была действительно счастливой и неповторимой. А сейчас, сейчас все стало трудней. Для него, для ребят его бригады, но об этом потом... И он сказал себе: «Об этом потом, в Северобайкальске сейчас полдень...» И где-то уже во сне мелькнуло: «И в жизни моей полдень...»

И как теперь он уснул, не додумав нечто важное, так и тогда он не дослушал разговор о счастье. Его куда-то позвали, по делам, наверно. А Байкову с внезапным раздражением возразил Игорь Плужко, кудрявый, светлоглазый парень, заметный не только густой русой шевелюрой, но и удивительно ладным, речистым слогом, которым он любил блеснуть на диспутах и собраниях.

— Слушай, Толя, но даже одежду шьют разных размеров, вот ты какой носишь, пятидесятый? А Бондарь пятьдесят шестой... И рост у всех свой. А счастье предлагаешь нам безразмерное, одно на всех.

— Я сказал не в порядке дискуссии, но раз на то пошло, я считаю — человек не может быть по-настоящему счастлив на свой, личный, сугубо индивидуальный манер или размер, как ты говоришь. Без душевной прикрепленности, без связи со своим временем, лишь постольку, поскольку он работает, допустим, в одном с нами коллективе, живет в одном доме... без душевной прикрепленности к Родине, к идее, к истине, он все равно будет неприкаянным. Вот тебе

притча о Летучем Голландце, трагедия вечного скитальца...

— О душевной прикрепленности ты уже говорил, по-моему, даже в одном интервью. Но хоть миллион раз повтори мне или кому-нибудь еще о счастье душевной прикрепленности — к нашей бригаде, к трассе, к театру, — я скажу, все это замечательно. Но мне, Человеку, мало. Я, например, хочу Любви. С самой большой буквы.

— Эй, мужики! — Иван Машков встал. — Форточку откройте, а то духота что-то. Угорели, поди, от дыма!

Но они стояли друг против друга. И тогда Иван накинул ватник, взял топорик, у других ребят тоже сыскались неотложные заботы, но они и не заметили, что остались одни.

— Да, говорил, да, в интервью. Но у меня нет мыслей парадных, на вынос, на выход, для экрана, для статьи, и мыслей подпольных, мышиных, где я бы грыз свою корочку и хихикал над тем, что сказал там, наверху.

— Значит, ты за жизнь только набело, безошибочную, четко спланированную разумом? И в этой жизни уже существует готовое счастье, до него нужно просто дойти умом? Чушь! Ты предлагаешь стереотипы, а я за ошибки, за поиски своего пути. Да, да, я за ошибки, нет, повторять их не надо, глупый повторяет свои ошибки, а умный делает новые.

— Тебе не кажется, ты говоришь парадоксы?

— Да, я за парадоксы, за любовь, за новые ошибки, за то, чтобы меня не объявляли счастливым человеком, перечисляя пункты: первый, второй, третий...

— У человека должен быть внутренний стержень, вокруг которого он строит себя как личность. Без этого нет человека... Но этот внутренний стержень во многом социален, и назови его причастностью ко времени, к идее другими словами, но суть останется прежней. А в тебе сейчас говорит раздраженность, ты при всей своей полемичности и талантливости, мне кажется, человек пока раздерганный, необъединенный.

— Не надо ярлыков, пережимаешь. Мы не на репетиции. И жизнь, к счастью, не пьеса. Ты ставишь пьесы, где тебе известен сюжет, а жизнь прекрасна импровизацией... Ты этого не понимаешь, в тебе есть стены. Да, стены. Вдоль и поперек.

Застучали валенки, пришел Графов, принес воду. С мороза, брови заиндевели, ввалился Машков. И Байков сказал негромко:

— Осенью, когда лед еще толком не окреп, река страшная. Все будто нормально, и можно пройти, но в самом неожиданном месте задышит под ногами — и все. Эта теория с импровизациями при всей своей раскованности — такой опасный лед.

Обычный разговор, если люди молоды, в той или иной форме он вспыхивал всегда, но Анатолий не мог забыть именно этот, чувствовал, речь идет о главном в его жизни. Может, он обманывается или бездарен, да, бездарен и не в силах передать то, что чувствует, другим, или передает только в качестве курьера — от драматурга к актеру, ничего не привнося от себя. Или он на ложном пути, вырабатывает брикеты — нате, съешьте, и вы будете зорки, умны, благородны... Но нет же! «Мне интересно дать первый толчок, показать человеку дорогу, по которой впоследствии он может идти и самостоятельно...» Именно так он ставил свою задачу и, делая эту дневниковую запись, думал — вернувшись со спектакля: человек должен достать книгу писателя, ту самую, по которой была сделана пьеса, потом будет другая книга этого писателя, других писателей, так и размотается клубок...

IX

Бондарь сказал в Чухломе Вере Александровне: «Ни одного бы дня не отдал из того, что было...»

А тогда, все той же весной семьдесят седьмого, они возвращались в зимовье злые, каждый думал: разве это день, тьфу! И Бондарь клял эти дни простоев, а заодно и поставщиков из Новокузнецка, смежников, беззубое начальство. Все шло наперекосяк. Рельсы то вовсе не привезут, то доставят с опозданием, шпалы бракованные — едва ли не каждая третья не пригодна к монтажу. Без напряжения три-четыре часа поработаешь и поймешь: день прошел, по сути, без толку, и ты не можешь ничего изменить. Каплей, переполнившей чашу терпения, был вызов Бондаря на заседание постройкома. «Да, мужики, — протянул иронический Саша Рапопорт, — лучший момент, чтобы погово-

рить об организации труда в бригаде, выбрать трудно».

Шутка атмосферу не разрядила. Да и сам Рапопорт в начале Звездного был бригадиром в соседней бригаде, он понимал: сложилась ситуация как бы «вне их». Никто не виноват, работы нет, но зато есть четкие и ясные объяснения, почему ее нет. А деньги? С деньгами все в порядке, по среднему им заплатят... Но им-то, молодым, злым, хотевшим, чтобы все в этой жизни было по правилам чести и добра, им нужны были не объяснения, а материалы. Они хотели получать деньги не вообще, а заработанные деньги.

Байков возглавил выпуск боевого листка. Перечислили, сколько человеко-часов провела бригада без дела и во что это обошлось государству. Ну, повесили листок на дверь начальнику участка, а что он, собственно, мог сделать даже для передовой бригады. И почему такие амбиции? Они что, одни простаивают? Или первые, или последние? «Подождите, не кипятитесь!» — говорили им. А тут, как назло, явились журналисты, съемочная группа Центрального телевидения, документальное кино. «Что, ребята журналисты, подавай вам рекорды? Так у рекордов есть оборотная сторона. Вот, смотрите, слушайте, снимайте, нам не от кого скрывать. Мы так думаем! Бесхозяйственность — это воровство, но у каждой бесхозяйственности есть точный адрес! Мы хотим назвать эти адреса!»

Поднеси спичку, взорвется пороховая бочка. А материалов все не было, простои продолжались.

То партийное собрание им не забыть.

— Почему у нас повелось, что главное не качественно, добротно выполнить свое дело, а поставить «птичку» возле объекта. Почему мы — коммунисты, рабочие, пассивно смотрим на «птичников», дескать, им виднее, они начальство — им нужно перед более высоким начальством отвечать. Что за чушь?! А наша рабочая совесть, где она отсыпается, когда мы авралим, гоним во что бы то ни стало план, потому что полмесяца сидели без материалов?

— Дельно, дельно говорим! Жираф большой — ему видней, а мы уж как прикажут, как велят! Мы только руки, а головы — на других плечах!

— Так, надо все взять под свой контроль, надо

установить связь с поставщиками, нужно соблюдать графики взаимно, а кто делает барахло, то бить рублем. И этот рубль брать не из кармана предприятия, а из кармана того, кто волынит...

— Товарищи, товарищи! Вы на партийном собрании, соблюдайте дисциплину!

— А что такое дисциплина, по-вашему, сиди, молчи в тряпочку, не гни дышло, как бы чего не вышло? Партийная дисциплина и партийная порядочность, это как раз говорить то, что думаешь. Вот так, как сейчас, перед лицом своих товарищей... «Чувство хозяина» — пишут в газетах, а какие мы хозяева, когда работаем с завязанными глазами, не знаем ритма всей цепочки, не видим картины в целом?

— Эти прения беспочвенны, другие бригады тоже в таком положении. Почему вы должны требовать и получать особые условия? Если докопаться до сути, то многих рабочих нервирует не положение с простоями, а маленькие заработки. Так что настроения корыстные...

— Это страшная демагогия — связывать заработок рабочего и его потребность в четкой дисциплине труда.

— Осторожно на поворотах, «демагогия»?!

— Товарищи, спокойно, таким отношением к делу мы материалы не добудем!

— А я говорю — демагогия: корыстные интересы у меня? Да, я хочу больше получить, но для меня эти деньги не будут деньгами, если я их не заработаю вот этими руками! Понимаете, вот этими руками!

Киношники вовсю жужжали камерой, у них буквально слюнки текли: такой живой, такой настоящий материал сам шел в руки. Но руководство по этому поводу испытывало другие эмоции: «Такой разгул, превратили партийное собрание в балаган, и это лучшая бригада. Вот что значит пестовать лидеров, быстро же они зарываются. Ладно, примем меры!» И меры были приняты.

«Вместо рельсов получили по партийному выговору», — рассказывали они... Настроение после собрания было не из лучших, но оптимизма не убавилось.

Это уже потом, когда смотрели фильм Владилена Трошкина и Володя Графов появлялся на цветной пленке взволнованный, растормошенный — смеялись:

«У, какой сердитый! А Бочий, глядите на Бочего! А кто это кулачком бьет по трибуне?»

А сразу после всех событий чувствовалась пустота, потребность выговориться не проходила, стихийные диспуты возникали на каждом перерыве.

Байков слушал ораторов внимательно, видел: накопили они праведного негодования — пора переводить его в действие. Сегодня после обеда привезли наконец почту. То погода была нелетная, то по весне дорога легла в талую воду, но теперь каждый зато получил по нескольку писем. Байков ощупал большой конверт: «Кажется, то, что просил», но вскрыл сначала тонкий. Оба письма были от институтского друга.

«...Ну, удивил так удивил! Как это ты находишь время размышлять над этим? У меня в студии есть один парень по фамилии Репкин, в смысле способностей человек для театра безнадежный, но готовый на все, лишь бы быть в театре. Каждый раз даем ему роль, самую маленькую, но он и ее не тянет. Иногда объясняю, ругаю его, чуть ли не в шею толкаю, — знаешь сам, как бесят бестолковые, а он говорит: «Кладочку бы целый день на морозе положил, так, может, хуже меня играл...» Глазами захлопает, и я увял. А ты рассуждаешь о драматургии нравственных проблем. Толик, ты случайно не учетчиком там устроился?

Теперь о главном. Помнишь, когда начинали учиться, в прессе, да и везде упреки: драматургия жизни не знает, драматургия отстает. Как производственная пьеса, так конфликт хорошего с идеальным. «Перебранка любящих сердец», как сказал один критик. Потом, слава богу, появился Чешков. «Человек со стороны» сломал старую схему. Наконец-то заговорили о деле, о профессионализме, и все эти общества взаимного восхищения рухнули как карточные домики. Насчет Гельмана я с тобой согласен. Найди «Литературку» за середину марта — он там неплохо прошелся по поводу наших общих бед. Опасается, правда, что вещи, написанные на злобу дня, окажутся написанными на злобу лет.

Да, вас трясет, как захудалую совхозную стройку, что ж, надо все испытать... Пьесу я тебе постараюсь прислать, она уже, кажется, вышла отдельной книжечкой...»

Во втором письме действительно лежала пьеса.

Байков облегченно вздохнул, пробежал товарищеское послание.

«...Не принимаю фанатиков разного рода, в том числе и «деловых». Он, видишь ли, сам будет сидеть в кабинете, пока уборщица ведрами не зазвенит, окна вокруг не погаснут, но из подчиненных тоже душу вытрясет, будто нет у них ни личной жизни, ни желаний, ни интересов. Я считаю таких руководителей людьми вредными для общества, потому что они воспитывают у молодых нигилизм. Над их «трудовыми подвигами» подтрунивают — и не из цинизма, а просто молодежь умная, все видит: сидит-то он сидит, а что высиживает? Я не помню случая, чтобы в начале месяца у нас была работа. С утра покопошимся, кое-что поделаем, а потом тоскуем, этикетки разглядываем, треплемся. Знаем — раньше пятнадцатого работы не жди, зато после пятнадцатого будут щедро платить сверхурочные.

Ты не возражай: наши начальники — фанатики поневоле. Так, как они живут, жить не очень сложно — дай только бог здоровья да жене терпенья. Еще и венец мученика на себя нацепят. Но их времена, похоже, проходят. И то, что сделали вы, — тоже способ отравить им среду обитания, такой на вид деловой, напряженный уют. Я лично тебя поддерживаю. У самого силенок, к сожалению, не хватает, хотя и надо бы «поворошить» уютно обитающих.

Все, старик, писать кончаю. Татьяна и дети спят, собирался почитать, но теперь, пожалуй, лягу. Через четыре часа вставать, а зимой, сам знаешь, не только в тайге вставать неохота».

В книжечку с пьесой была вложена рекламная брошюра последней театральной недели в Москве. Академический театр имени Евг. Вахтангова, Академический театр имени Моссовета, МХАТ СССР имени М. Горького, Драматический театр на Малой Бронной... Анатолий долго вчитывался в репертуар, смотрел сцены из спектаклей и испытывал не зависть, а острую потребность потягаться силой. Пуще того, он был почти уверен, что еще немного — и он выйдет на эту прямую финишную линию...

Украдкой оглядел ребят: «А что, смогут ведь! Главное, их разбудить!» Конечно, позже он подсмеивался над этой юношеской самонадеянностью: но смешной ему казалась не сама возможность вызвать

на состязание прославленные академические коллективы, а традиционный подход к понятию театра...

А парни тем временем читали друг другу отрывки из писем.

Байков прислушался. Они говорили о картинах Константина Васильева, что он пишет не то, что есть, а то, о чем тоскует душа, — и вся его палитра, все его вещи — это обещание, что все будет на земном шарике нормально, должно быть по крайней мере...

«Да, — Анатолий подкусил губу, — да, когда пишем, когда рассуждаем о современном человеке, то убого снижаем потолок «положительности»: не пьет, не бьет жену, не курит, хорошо работает — и уже герой! А духовное насыщение? А нравственные потребности этого человека?»

— Толик, никак прекрасная незнакомка пишет? — Ваня Машков толкнул его локтем. — «Дыша духами и туманами, она садится у окна...»

— О! — Графов покачал головой. — Красиво выражаешься...

— Ну, брат, у нас в детдоме тоже библиотека была. Так что и мы немного того, читамши.

— А что, я думаю, надо ставить «Премию» Гельмана. — Байков встал, хлопнул по ладони книжечкой. — Вот она!

Ребята умолкли. Недавно в клубе шел фильм «Премия». Олег Ефремов сыграл бригадира Потапова во МХАТе. Широко сыграл, мощно, во время его монологов в зале стояла мертвая тишина. Оператор телевидения не спеша, припоминая подробности, рассказал им мхатовскую постановку. Этого основательного, неторопливого парня Байков знал давно. Знал и «красивую» жизнь телевизионщиков. Камера, между прочим, весит двенадцать с половиной килограммов, и ее надо держать на плече весь световой день, а иногда и ночь. Он видел, как в морозы съемочная группа скидывала тулупы и укутывала аппаратуру, чтобы пленка не замерзла и не осыпалась. А долгие командировки, перелеты, переезды по трассе на перекладных, опостылевшие «заежки»? И все это — ради тех метров пленки, которые расскажут о главном и останутся навсегда. Нет, что ни говори, а люди, умеющие делать свою работу профессионально, заслуживают оценок первого ряда, даже если они всегда за кадром.

В Звездном есть улица кинооператора Владимира

Горбунова, начавшего летопись БАМа вместе с первым десантом добровольцев. Он был неизлечимо болен, знал об этом, но не давал себе никаких поблажек, снова и снова отправляясь в экспедицию на трассу: ему принадлежат уже ставшие историей кадры первого десанта, первой просеки, первого дома, первых метров БАМа...

Байков помешивал палкой уголья в костре. Они вспыхивали пронзительно, огненной мошкой рассыпались искры.

— Куда нам, — басили парни, — до МХАТа, до Ефремова. На посмешище себя выставим. И в фильме: Янковский, Леонов, Самойлов, а у нас кто? Бондарь, Машков, Графов — да?

— Каждый на своем месте хорош, — рассудил Бондарь. — Как ты думаешь, Толик? Мы лучше найдем что-нибудь по себе, есть же и для нас пьесы?

Байков переломил палку, швырнул ее в середину огня:

— Мы поставим и сыграем «Заседание парткома», как этого до нас не сделал никто.

Он сказал это так, что ему невозможно было не поверить, и потом Саша Рапопорт вспоминал: «Мы загорелись, да и Толик решился — он понимал, этот спектакль может напрямую послужить делу. Но тут вышел фильм, а вскоре МХАТ приехал на гастроли, показывал именно этот спектакль. И вот, когда практически все отказались от этой идеи, Байков «завелся». Куда только девалась его неприязнь к «модным» пьесам! В нем заговорил человек дела, объективный и твердый. Он сумел рассеять наши сомнения: «Мы поставим и сыграем спектакль, как этого не сделал до нас никто».

За столом — Бондарь, Машков, Бочков, Графов. Идет партийное собрание, на сей раз не стихийное, а логически выстроенное, острое, столкнувшее в поединке жизненные позиции Потапова и Комкова, Соломахина и Батарцева.

«— Мы умеем и любим подниматься на трибуну и говорить красивые слова о рабочем классе! Он у нас и грамотный, и современный, и умный, и культурный, и настоящий хозяин своей стройки! А когда он сюда пришел, этот хозяин, к нам, когда он выложил все, что у него наболело, мы его не узнали! Сначала мы решили, что рвач! Потом подумали, что демагог! Потом

мы пришли к выводу, что он подставное лицо! А потом мы сказали: ты — парень хороший, но, пожалуйста, забери назад свои тетрадочки! Они нам мешают! А вы знаете, почему эти двенадцать человек получили сейчас премию? Потому что они не верят! Не верят, что Потапов чего-нибудь добьется, что можно что-нибудь изменить на этой стройке! Так неужели мы сейчас подтвердим это? Во имя чего мы так поступим? Во имя чего погубим в людях самое важное — веру в то, что ты не пешка в этой жизни, что ты можешь что-то изменить, переиначить, сделать лучше? Мы — члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии треста номер сто один! Такой партии нет и никогда не будет!..»

Вот они, те нужные слова, которых не нашли на том горячем партийном собрании Володя Графов, Бондарь, да и сам Байков. Потапов победил, они не сумели, но зато сколько страсти и убежденности они вкладывали теперь в эти монологи-диспуты. Репетиции шли прямо на трассе, как только выпадало время, но Байков не успокаивался: «Нам нужно не перекричать, а убедить. Убедить! Мы должны быть не суетными, а уверенными в правоте». И он вновь и вновь прогонял эпизоды, расставляя акценты так, как их мог расставить только человек, работающий на БАМе, в бригаде.

— Что, решили МХАТ за пояс заткнуть? — спрашивали в поселке. — Ну-ну, посмотрим...

— За качество игры не ручаюсь, но за проникновение в суть дела — полностью, — сказал Бондарь и любопытствующим журналистам, но самого пронял холодок: а вдруг сорвемся?

Шестнадцатого апреля в Звездном была премьера. Они показали спектакль со своим прологом. Александр Бондарь вышел на сцену и рассказал об истории его создания, о том, что репетиции шли во время простоев. Монолог Соломахина несколько раз прерывался аплодисментами. Из зала доносились реплики: «Прав Потапов! Прав! И у нас то же самое!» Это был живой театр! Действующий внутри жизни, не испорченный ощущением, что у артистов своя жизнь, что они играют в проблемы и не знают, не могут знать, каково тут, на трассе, — и поэтому спектакль остается спектаклем, а жизнь — жизнью... Реквизит у них был минимальный, декораций и костюмов — никаких,

только бы сохранить это удивительное настроение, суметь передать свою веру в такую простую, но легко ускользающую истину: дело зависит от каждого. Плохо ты будешь работать в карьере, не будет отсыпки. Не будет отсыпки, ты задержишь мостовиков, а если ты задержал мостовиков, то я задержу укладку. И поезд не придет вовремя — ты подвел всю цепочку...

«Заседание парткома» играли в обеденный перерыв, в балках, в вагончиках, на грузовике, вечерами в клубах — как и когда позволяли условия трассы. Причем в зависимости от сцены у них были свои варианты пьесы. После спектакля разговор продолжался, налаживались прямые контакты бригад-смежниц. Актеры и зрители присаживались к столу, который только что служил реквизитом. Так рождалась «Рабочая эстафета». Это было действие спектакля, вынесенное за его рамки.

— Мы не только подталкивали смежников под локоть — давай, дескать!!! — помогали, как могли. Доставали технику, утрясали сроки. Контакты налаживались, мы всех знали, нас знали все. Я помню, как принимались обязательства соревнования, как устанавливались реальные и жесткие сроки их выполнения, — рассказывал Анатолий на одной из встреч в Московском институте культуры, куда пригласила его Людмила Михайловна Петрова. Она хотела, чтобы он поделился опытом с ее теперешними учениками, но он делился чувствами, он подчеркивал: кто хорошо думает, тот хорошо играет, а режиссер должен умножать себя на материал пьесы.

— А если материал чужой? — спросил кто-то.

— Режиссер просто не должен его брать, если не близок автор, не близка тема. Репертуар — ваша гражданская боль.

— А если советуют, настойчиво советуют взять чужой вам материал? — не унимался человек, который хоть и был молод, но уже знал, «почем фунт лиха» и как порой строится репертуар.

— Мне это непонятно, — сухо отрезал Байков.

И действительно, он этого не понимал. Он действовал только по убеждению и в этом действии «имел пробойную силу», как шутили в бригаде.

Сказал тогда: «Мы поставим и сыграем «Заседа-

ние парткома», как этого до нас не сделал никто» — и выполнил.

Спектакль нес на себе уникальную нагрузку: с его помощью театр-бригада установила тесные связи со смежниками по всей технологической цепочке, заменив многостраничную переписку, совещания и командировки.

Почему эта в общем-то не новая идея нашла на БАМе такое реальное воплощение? Должно быть, именно на такой стройке, где все, начиная от первого колышка, сделано собственными руками, у каждого человека возникает со временем чувство: он звено (и очень важное!) в единой неразрывной цепочке. Даже дети в старшей группе детского сада знают, где стоит укладчик, где мехколонна, где теперь предпусковой период. И «путь должен быть бархатным», написал один третьеклассник в сочинении «Профессия моего отца». Этот маленький философ припомнил, что в Москве он жил на Октябрьской площади, и старые домишки исчезали прямо на его глазах. Но в Москве, он считал, строить — дело строителей, а у других взрослых свои дела, и всем интересны только свои заботы. Но на БАМе понял: людские заботы связаны между собой. И лично он хочет поскорее вырасти и сесть за руль бензовоза, потому что у отца на участке часто простои из-за бензина...

По большому счету они и делали спектакль про это: все мы, работающие на разных участках, живущие в разных городах и селах — в одной цепочке. Исключи хоть малое звено, пошло-поехало, видимо или на первый взгляд невидимо, но разлад, расстрой начат, и, если не проиграли в сроках строительства или еще там в каких-нибудь показательных сроках, то проиграли в нравственности людей, за счет которых это все тянулось. И все это рано или поздно отзовется...

Был и у них случай, когда требовалось отрапортовать, щелкнуть каблуками. Бригада работала на звеносборке, подходила к какой-то «круглой» цифре. И начальство заел нетерпеж скорее доложить, руку к козырьку. Явление, в общем-то, не такое уж редкое, как хотелось бы! Вызвали Бондаря, сказали по-дружески: «Надо, дорогой, завершить работу досрочно! Надо красиво работать!» Тот руками развел: «И так задерживают поставщики, у них качество «хромает»,

если и мы на живую нитку, что ж получится?» — «Ничего, иди, решай с бригадой, у тебя ребята — орлы! А мы вас не забудем!» На всякий случай доверенный человек приехал в бригаду, сказал с пафосом:

— Понимаете, товарищи, бывают ситуации, когда надо! Надо участку, надо поезду, надо всей трассе! На вас смотрит вся страна. Надеются, верят. А наши внутренние дела, наши болты и гайки, кого они, кроме нас, интересуют? Уложите хотя бы рельсы, отрапортуете, а потом доведете до ума. Завтра, что ли, поезд с пассажирами здесь пройдет?

— Завтра, — сказал негромко Слава Огородничук, — завтра символический поезд пройдет по символическим путям.

— ...через нашу символическую совесть, — добавил Байков.

Доверенный человек сокрушительно покачал головой, дескать, зазнались ребята.

— Ну, так что? — он обращался теперь только к Бондарю.

— Мы на это не пойдем, — спокойно сказал тот.

Машков, глядя вслед удаляющейся дрезине, пробормотал:

— Да, Сашок, не оправдал доверия...

— Все, кончай перекур, — Бондарь надвинул каску на подшлемник.

На следующий день кончалась вахта, и они вернулись в поселок.

X

Что еще запомнилось? Витим-река. Мощная, свирепая на порогах. А то вдруг кроткая, спокойная, на которую садятся крупные, со слюдяными крыльями стрекозы. Но это было летом, потом, когда шли через Витим с укладчиком, а первая встреча — зимой, в 1978 году. Привезли мостовикам Витима «Заседание парткома».

Ехали в ледяном, надымленном автобусе, нахохлившись, стараясь не растрясти тепло. Байков подумал: «Как бы автобус выдержал... Может, стоило остаться в Таксимо?»

И летом-то в этих местах не тянет на песни и долгие разговоры, прямо в тебя смотрят оцепенелые, по-

крытые вечными снегами хребты, засмеешься — и уже забил дыхание резкий, неизвестно где рождающийся промозглый ветер. А зимой и того пуще: держит за душу батюшка-мороз.

— Где-то на Витиме есть зона с теплым микроклиматом, когда-нибудь здесь арбузы будут вызревать. — Рапопорт вспомнил про арбуз, и этот арбуз, блестящий, огромный, прогретый одесским солнцем, возник у него перед глазами, хрустнул, разломился, и крупитчатая мякоть спело легла на тарелку.

Графов жил в средней полосе России, слова про арбуз что могли ему напомнить? Иногда в овощном магазинчике лежали горкой мелкие и грязные арбузики с мятыми боками, стоило ли использовать микроклимат Витима на таких вот уродцев. Но мороз, сухой, крутой, тоже не оставил его равнодушным:

— Худо нынче таракашкам, начисто вымерзнут.— И усмехнулся. — Ну-то и ладно! А живность как?

— Опять воробьев навезли, не приживутся, бедолаги. — Бондарь как бы шутил, чтоб не засмеяли: здоровый амбал пожалел «горобцив». А завозили на БАМ воробьев малыми партиями, они и не переживали зимы, но потом помаленьку вывелся какой-то особенный сорт очень похожих на воробьев птиц, а может, это они так вросли в новый климат.

— Говорят, Витим — прототип шишковской Угрюм-реки? — как бы сам у себя спросил Байков и тут же сам себе возразил: — А может, Тунгуска?

Через Витим строился железнодорожный мост. Река была неподвижной, промерзшей, и Байков, увязая в снегу, спустился к кромке льда. Галечник виден, валуны видны, «села» река, и воды в ней нет. Огляделся, тишина вечная, звуки держатся только около людей, а чуть отступи — белое безмолвие... Помчался по льду вперед, на другой берег, парни за ним, врассыпную. Но он был уже далеко и, увидев голый, вылизанный ветром камень, взобрался на него, закричал: «Вот он, ВИТИМ! Я его ПЕРВЫМ перебежал!»

Прибежали и другие, выдохнули: «Ну и видик!» Места были холодные, графические, скупой, но точно взвешенной красоты.

Витим для бондаревцев — понятие, которым они колдовали: «Дойдем до Витима, а тогда...» Так почти всегда начинались их разговоры о будущем. Витим — конец Бурятии, граница ее, через мост трасса уходила

на Читинский отрезок. И однажды в дневнике бригады Федя Пилюгин записал: «Хотим дойти мы до Витима, не потеряв ни одного...»

Возвращались тихие, уставшие, Байков тоже поддался несвойственному ему элегическому настроению: «Когда-нибудь все это будет в прошлом, и эта зима, и Витим, и наши гастроли, как остался в прошлом Звездный. Звездный — и в прошлом? Надо подумать о спектакле о БАМе. Материал есть, и какой материал. Вот бы сделать к стыковке...»

Из записной книжки Байкова:

«Звездный... Как должен чувствовать себя человек, выбирающий площадку для десанта? По-человечески: идет по снежной целине, думает о семье, о доме, хочет поскорее дойти до заброшенного охотничьего зимовья на берегу Таюры. Мороз около сорока, на подшлемнике — иней. Воткнута в снег лыжная палка — первая вешка будущей стройки. Лицо Корхова — очки, мелкие черты, добрая, застенчивая улыбка. Типичный учитель или библиотечный работник — участник первой разведки, начальник производственно-технического отдела СМП — Виталий Корхов... Важно ли имя, важен ли портрет конкретного человека? Да! Чтобы потом побороть соблазн сделать его богатырствующим красавцем, этаким героем эпоса. Внешняя подмена героизма — ложь. Словесная подмена — ложь. Только дело плюс слово. В деле слово.

Разведка открыла путь десанту. Через Лену к Таюре пришли самосвал ЗИЛ-130, трактор «Кировец», бульдозеры. В десанте 18 человек, почти все со стройки Хребтовая — Усть-Илимская. Пятьдесят километров — тридцать два дня. В феврале 74-го они подготовили вертолетную площадку (на плане города тут будет школа, в школьном классе 11 декабря 1974 года первое занятие нашей театральной студии). А тогда сюда забросили бензопилы, горючее, гвозди, соль, концентраты, чай... «Джентльменский» набор первопроходца.

— Было, — скажет усталый зритель. Он устал, потому что лично ничего подобного не пережил, но слышал, слышал, слышал. На самом деле он устал переживать чужой опыт и слишком слаб, чтобы приобрести свой.

У нас, к сожалению, такой зритель, для которого «все уже было» по книгам и по кино, не единичен. Что предложить ему? Спорили как-то в институте:

— Надо в театре вводить трюки, шире использовать кино, цветомузыку...

— Нет, это внешнее. Вы дайте им новый поворот в сюжете, загните им «сюр», экспериментируйте с духами, голосами, внутренними диалогами, гоните окрошку из молодежных ансамблей и древнеиндийской философии. Сейчас все на стыке, все во взаимопроникновении...

А не кажется ли вам, что прежде чем давать такому зрителю квинтэссенцию чужой мысли, его надо просто взашей вытолкать из театра. Катись, товарищ, пока тебе двадцать пять, пусть и тридцать пять, катись в жизнь! В обыкновенную, где просто мерзнут, устают от физической работы, идут много километров по снегу, чтобы добраться до жилья. Иди в тайгу, иди в пустыню, куда хочешь, но только ж и в и! Это прекрасно — ж и т ь!

И именно это страстное желание жить, жить настоящей жизнью (ветер, дождь, снег, горы, большие деревья, новая земля — молодая земля — и ты всему открыт, ты такой же настоящий, как и всё вокруг...) было в Тохе Голяновой, Володе Снеговом, Иване Машкове, Володе Бочкове, когда они летели в вертолете из Усть-Кута.

— Как же я спущусь по веревочной лестнице, руки-то заняты? — спросила Тоха. — У вас рюкзаки, а у меня портфель.

— Ничего, — утешили ее. — Не волнуйся, все равно будут выбрасывать на парашютах».

Потом, наткнувшись на записную книжку, Байков поборол первое желание вырвать эти листы. Так они и остались сверху чуть надорванными... «Мое дело работать с коллективом, драматург — какой я драматург...» — так ли он подумал, иначе?! Но вырвать хотел. Но перечитал. И дописал еще несколько страниц.

«Один хороший писатель видит девочку в желтом платье, девочка идет по саду — и только (!), а он уже знает, получится рассказ. Я слышу магнитофонную запись ансамбля: «Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир...» — и мне хочется поставить спектакль о БАМе. Наверно, моему соседу нравится эта пленка, он ее крутит и крутит...

Если бы я нашел пьесу, вместившую все мои мысли и переживания, и не только мои!!! В Звездном был концерт, приехал знаменитый солист из Москвы. Он возвышался в свете прожекторов в лакированной каске с надписью «БАМ», в туго облегающем серебристом комбинезоне. Он постоянно двигался, притопывал, добросовестно выкрикивал: «БАМ! БАМ! БАМ! От Байкала до Амура мы построим магистраль!» Ансамбль, раскачиваясь, как в шторм, подхватывал припев. А в толпе ребят — Толя Гречушкин. У него забинтованы голова и руки, он морщится от настырно громких звуков. В тайге был пожар. На стену огня ползли тракторы, как танки в атаке, за ними — цепью — ребята с лопатами, топорами. На Гречушкине вспыхнул ватник, он катался по земле и кричал: «Иди ты... сам потушу!» Выстоишь в пекле минуту, твой участок будет спасен. И все старались выстоять. Даже девчонки, которые ничего не жалеют для красоты и, если приходит автолавка, первым делом: «Крем есть? Французский? А косметическое молочко?», на пожаре не отставали, лезли в огонь.

«БАМ! БАМ! БАМ! Слышишь — сердце стучит: БАМ!» — что ж, парень-солист старался, и не его вина, что морщился Гречушкин, болели ожоги...

Он пропел и уехал. У него гастроли, и слова песни, написанные поэтом, и музыка, созданная композитором. Но я тут не гастролер. Я не могу поставить спектакль, добросовестно выкрикивая: «БАМ!» Может, вообще надо все написать монологами и каждый монолог читать вполголоса. Потому что искренние, сокровенные вещи нельзя проорать и протопать.

Вошла Люда:

— Смотри, мне подарили палаточный Звездный.

На фотографии можно разобрать надписи на брезенте: «Остров сокровищ и крокодилов», «Дерибасовская, дом 3», «Входи без стука», «Националь», бесплатный филиал, харчевня «Бабьи слезы», харчевня «Тихий омут».

— Правда, смешно?

Не смешно, лихие надписи для храбрости. Храбрились ребята, дурачились. На этой земле им предстояло много пережить, повзрослеть, родить детей, увидеть в зеркале первые седые волосы...

Пока человеческий род в своем молодом поколении будет что-то осваивать: землю свою, землю ино-

планетную... он будет жить. Деяние и созидание — формула существования этого рода... (Ай да Байков — все ему понятно! Плохи его дела, плохи...)»

Была у него эта привычка послесловий...

— Может, это все важно только для меня? Только для моих товарищей? — случались такие минуты у Байкова. Вот и на митинге в Звездном, слушая очередного оратора:

— Давно ли пробит зимник, давно ли оттаяла первая лютая зима, в разгар которой двинулись навстречу друг другу двадцать пять лесорубных бригад, чтобы пробить тысячу верст просеки и открыть фронт работ мехколоннам? Под Новый, 1976 год машинист Игорь Нестеров привел в Звездный первый поезд из Усть-Кута. Теперь раз в сутки, около шести вечера, от станции Лена (в десятке километров от Усть-Кута) отходит на станцию Таюра пассажирский поезд с двумя вагонами, и билет по этому маршруту стоит один рубль. А укладка железнодорожного полотна ушла к Нии, Магистральному, Улькану — на восток, к Байкальскому хребту, перевалу Даван.

Молодой народ радостно аплодировал, хлопали ладошками и коренные бамовцы, сидя на руках у родителей. Рядом с Анатолием во весь рот улыбался Графов.

— Граф, что ты думаешь? — были вещи, которые Байков мог спросить только у Володи Графова. Тому ничего не надо было объяснять, он понимал интонации и полутона.

— Все это подтверждение того, что мы жили на Земле.

Они шли по Звездному гурьбой, но Байков и Графов чуть позади. Приостановились, посмотрели, как трое пацанов ловили лохматых больших лаек.

— Буржуй, Буржуй! На, на! Бамочка, Бамка, иди, иди сюда, иди!

— Ты Джигита, Джигита зови, если Джигит подойдет, другие за ним, — советовал тот, что держал наготове веревки. Мальчишки хотели запрячь собак в санки и были полны решимости их поймать.

— Юрка, домой! — звонко закричала молодая хозяйка, зазывая мальчишку, возлагавшего надежды на Джигита.

Анатолий и Володя посмотрели в окно:

— Привет! — окликнула их Мария, бригадир штукатуров. — Заходите, угощу лимоном.

— Спасибо, мы тоже купили, — смущенно улыбнулся Граф.

— Вы купили, а я вырастила. Настоящий, сухумский, а лист как пахнет. Лист можно в чай класть. Вах!

Да, о подоконниках Звездного можно писать отдельную поэму. Чего тут только не было! Герань, бегония, астры, хризантемы, длинные ящички с укропом и петрушкой, луком и чесноком.

Байков дома достал свою записную книжку и черкнул: «Хорошо сказал Графов о дороге: это подтверждение того, что мы жили на земле».

XI

«Неужели все позади? Звездный, Кичера, Витим, Балбухта? И к этому надо привыкнуть и жить дальше... И жить достойно». Бондарь уезжал из Чухломы в задумчивости, ему, собственно, не свойственной. Разворошили душу разговоры с Верой Александровной, торжественные встречи в клубе, школе, ночное чтение писем...

«Неужели Звездный позади?» — думал Байков, когда они возвращались с Витима. А ведь были в Звездном и тяжелые минуты, когда и ему и всей бригаде казалось, что — тупик, и как быть дальше?

В ноябре 1977-го Байков писал другу:

«Полтора года был рабочим в бригаде. По-моему, это лучшее время моей жизни. Нам присвоили звание народного театра, коллектив на глазах менялся... Но основные работы в поселке закончены, бригаду начали «растаскивать»: часть командировали в Тайшет, часть — в Кунерму, километров за двести. Коллектив — и рабочий, и театральный — начал распадаться. Процесс, впрочем, закономерный: уходит трасса, слабеет и ударный «кулак». В людях нужда по-прежнему есть, но обеспечить работой большие бригады, да еще работой ритмичной, практически невозможно.

Вторую неделю работаю в клубе, дали ставку режиссера. Я, может, и не ушел бы из бригады, сохранись она в прежнем качестве... Несколько раз ездил на Тайшет — там несколько человек в командировке, но из репетиций ничего путного не вышло, состав все равно неполный. С неимоверными затратами нервов и сил поставили «Баню» и «Четыре капли» Розова. Я этими работами недоволен. Дошло до крайности — перед генеральной репетицией ребят послали на трассу, так их жены заменили, на мужских-то ролях! Какая надобность в таком цирке? Ходили к начальству, просили давать работу в одном месте, чтобы сохранить бригаду и коллектив, нас вроде и поддержали, но, похоже, ничего не изменится. Написали письмо в Москву, в ЦК профсоюза, с просьбой перевести всех вместе на другой участок, но нам отказали. Это сейчас не очень поощряется — поезда хотят сохранить стабильные коллективы, а кое-кому мерещится за нашими хлопотами тоска по длинному рублю. А хочется работать сейчас, и работать в полную силу!»

...Машков и Рапопорт уехали «гонцами» в Северобайкальск.

Пришли к Феликсу Викентьевичу Ходаковскому, начальнику треста Нижнеангарсктрансстрой. Ему уже звонили из Москвы, из ЦК комсомола, что, видимо, на Бурятский, самый трудный и малоосвоенный участок БАМа, будет направлен отряд, который формируется к XVIII съезду комсомола. В него вольется и часть отряда, прибывшего четыре года назад в Звездный, Тынду и Шимановск. В начале апреля Ходаковский дал распоряжение формировать новый строительно-монтажный поезд номер 608 с местом дислокации — поселок Кичера. Бригаду Бондаря Ходаковский знал и приезду ребят обрадовался: «Снова палатки, просека, сил хватит? Второй Звездный, придется все начинать сначала».

...Наступил вечер, напоминающий исторический совет в Филях. Бондарь, Голянова и Машков уезжали на XVIII съезд комсомола, надо было окончательно определяться. Все проголосовали за Кичеру. Байков даже не ожидал такого единодушия. Недавно, считай, началась оседлая жизнь, и снова — в путь? У пятнадцати членов бригады — семьи, маленькие дети, хорошие квартиры в Звездном, что скажут жены? А жены сказали: «Да».

Зато решительное «нет» сказало руководство поезда: лучшую бригаду — не отпустим! Перевода не дадим, если уволитесь — освобождайте квартиры... Пришлось увольняться без перевода. По поселку поползли слухи, что Бондарь и его команда уезжают за длинным рублем. Вслед неслось обидное: «Рвачи!» А они теряли северные надбавки, льготы, положенные ветеранам БАМа. Конечно, было обидно — не из-за денег: в Звездный вложены мечта, труд, победа. Звездный — это дом, тобою построенный. Это театр, это проверенная огнем и морозами дружба. Это любовь. Это место рождения твоих детей. И уезжать отсюда с дурной славой было тяжело. Трое улетали в Москву, на съезд комсомола. Остальные верили: их поймут, поддержат. Так оно и вышло.

В столице Бондарь встретился с Мохортовым, начальником ГлавБАМстроя, человеком суровым, крутым, но справедливым. Он понял: не за северную надбавку бьется лучший звезднинский бригадир. И аргумент о театре Мохортов, крупный хозяйственник, тоже честно положил на чашу весов. Однажды, после тяжелого дня на объектах, Сахно затащил заместителя министра в клуб на «Таюрские посиделки». Словно скинула груз душа: здоровье, молодость, совершенно особая атмосфера! И Байкова Мохортов запомнил. Это от него исходила энергичная волна действия, увлеченности, творчества. «Город на заре» Мохортов тоже видел и не забыл. И когда Бондарь сказал:

— Байков, конечно, актеров себе найдет, но вот мы-то без театра, без «Литературной студии», боюсь, не сможем.

— Так и не сможете? — Мохортов прищурился.

...Машина уходила все дальше от Звездного. Мелькнула лента Таюры, подвесной мост, где они репетировали и с которым у каждого были связаны свои личные переживания.

«На той березе повисла тогда красная ленточка, отвязалась от гривы и запуталась. Помнишь свадьбу?» — Люда не сказала этого вслух, просто посмотрела на Байкова.

Скрылись за деревьями знакомые дома, еще можно было разглядеть «полки» улиц, врезанных в сопку, еще видна была школа, которая стояла высоко, и ее окна, отражая голубоватое неяркое небо, блестели молодым ледком. «Прощай, сопка Любви, прощай,

Звездный!» Никто не сказал этих слов, никто не заметил слез на глазах Тони Голяновой или сделали вид, что не заметили. Впереди — новая жизнь и дорога, и нет ничего прекраснее в молодости, чем это тревожное, сквознячком обжигающее душу чувство — новой дороги и новой жизни. И пока нет страха перед этим новым, пока нет испуга перед внезапными изменениями в судьбе, а, напротив, любопытство и страсть поскорее это новое испытать — ты молод!

Сезон открыли в Кичере «Заседанием парткома». На спектакле присутствовали журналисты из соцстран. Опустился занавес, один из гостей сказал: «Мне понравилось, как вы играли. Только ситуация не совсем естественная — как это можно отказаться от денег?» — «Например так, как мы отказались», — ему рассказали историю про переезд в Кичеру.

Справедливости ради добавим: Мохортов слово сдержал, бригаду восстановили в правах, вернули льготы, правда, задним числом, месяца через три.

Из отчета в Иркутский обком ВЛКСМ:

«На апрель 1978 года состав театрального коллектива «Молодая гвардия» — 57 человек. Из них мужчин — 26, женщин — 31. Семейных — 29. Членов КПСС — 20, членов ВЛКСМ — 33. Представлено национальностей — 9. Депутатов областного Совета — 1, городского — 2, поселкового — 3. Профсоюзных и комсомольских активистов — 29. Служащих — 16, рабочих — 41».

Сорок километров до Байкала, а тайга уже пахнет по-иному — ветром и талым ледком. Снова палатка, снова кочевая жизнь, снова просека.

...Раннее утро, нет и шести. Солнце только поднимается, но рубахи и куртки темны от пота. Комары ярой бамовской породы с воем заходят на посадку, но вальщиков почему-то не трогают. Острословы давно заметили: «Нету «дэты» — трудись до пота». Комар не возьмет. Зато мошка торжествует победу, словно бросил ее на лесорубов сам таежный леший. Однако движется дело, все шире участок чистого неба над головой. Первыми пробиваются Бондарь с Машковым — рубят подлесок, за ними идут вальщики: жужжат бензопилы, вгрызаясь, как буры, в мощные тела вековых сосен. Обрубка сучьев, трелевка,

раскряжевка, корчевка пней — вся работа на просеке трудная, но без нее не будет дороги. Ходаковский твердо обещал: «Начнется укладка — пойдете первыми». Байков опять в бригаде, работает на пару с Бондарем. А вышло так. Вместе с бригадой пригласили на Бурятский участок и театр, да в суматохе организационных дел забыли предусмотреть в штатном расписании СМП должность режиссера народного театра. «Подснежником» пойдешь?» — спросили в кадрах. «Я в бригаду, лесорубом, не привыкать», — сказал Байков. И действительно, дело знакомое, не так страшно, как казалось в Звездном, когда едва ли не ползком добирался до зимовья, валился на койку, и ребята не могли дозваться его к ужину... Конечно, и сейчас нелегко, но проторена тропинка, нет страха перед делом, которого не знаешь. А усталость — ну что ж, все устают, даже здоровенный Бондарь.

В семьдесят четвертом все газеты обошел снимок симпатичной девушки, которая стоит около палатки, в руке кусок мела, а на пологе палатки, прямо по брезенту, выведено: «Вот мы и дома!» Это Тоня Голянова, комиссар отряда Западного участка БАМа. А теперь новый виток и в ее судьбе: в двадцатиместной палатке бондаревцев Тоха — хозяйка. Чисто, пахнет травами, цветная занавеска колышется — уютно, тепло, как в деревенской избе. За занавеской — Тохин мир. Печь горячая, посуда блестит, на столе — густой, рубинового цвета компот с брусникой, крепкий чай, хлеб, масло под белоснежной марлей. «Может, не наелся кто или пить захочет». А на плите обед поспевает — щи крестьянские, лучок на сковородке розовеет, на второе, даже если и тушенка, — будут чудо-макароны по-флотски. Компот без ограничений — семь, десять стаканов — пожалуйста. Смотреть, как ест бригада, — одно удовольствие. В старое время, когда работников выбирали за столом, по аппетиту, бригаду Бондаря разобрали бы в самые крепкие, работящие дворы...

Поворот, еще поворот, и наконец отчетливо виден голубоватый несильный дымок над крышей приземистой баньки. Вот теперь действительно окончился этот длинный, серый, доставший ознобом до костей день, и можно позволить себе ощутить, как застыли ноги в тыщу раз намокших и высохших портянках, как тяжелы негнущиеся, вымазанные глиной сапоги. Трое

суток почти без отдыха восстанавливали на Даване путь. Вот уж точно, проклятущее место: вокруг все в осеннем золоте и свете, а там предзимье, все зыбко, ненадежно, и нужно делать любую работу с троекратным запасом прочности, без надежды на везенье.

Все это время на перевале они толком не ели, мало, урывками спали.

Хорошо, что Тоха Голянова, нашла же, добрая душа, оказию, передала теплых, румяных пончиков-колобков «с сюрпризом». Кому-то достался с ягодой, кому-то с соленым огурчиком. Прервав на минутку работу, разламывали хрустящие пончики, смеялись Тониным выдумкам, потом снова брались за дело.

— Сегодня, мужики, кто хворый али сердцем слабый идет во вторую смену, — весело сказал Бочий, — сегодня паримся, чтоб душа вон...

— Кончай пуганый народ пугать, — откликнулся Бондарь, — пар костей не ломит, вон души не гонит!

Тоха встретила на пороге палатки:

— Ши зеленые с яйцом, гуляш с гречкой, оладушки, голубичный компот. Мяту заварила, венички запарила, на дежурных жалоб нет, воды хватит на целый взвод.

Леша Графов залюбовался Тохой. Она стояла посреди усыпанной брусникой, изумрудной от разнотравья поляны, сзади подступали высокие, почти до пояса, желтоглазые ромашки, каких ни на Украине, ни на Кубани, ни в центре России не сыщешь.

— О еде, Тоха, пока ни слова, — Толя Байков уже в желтой футбольной маечке вынырнул из-под полога палатки, — знаешь, как наши предки Дмитрия Самозванца раскусили? Очень просто: он в баню не ходил.

— А среди нас самозванцев нет, — пробасил уже с порога бани Графов.

Брусничная поляна снова надолго затихла. Изредка тишина взрывалась хохотом, кто-то вдруг блаженно заорал, потом на минуту приоткрылось закопченное, под самым потолком узенькое оконце.

Сидели в предбаннике, утирая краем простыни ручьями струящийся по лицу и шее пот. Байков вытянул длинные ноги, закрыл глаза, и вспомнилась вдруг банька в Галузине, на самом краю картофельного поля, куда ходили они по субботам. В деревне не обучали банным наукам, но мылись и парились

грамотно, относились к бане с уважением. Если затевал кто строительство своей баньки, помогали всем миром — как не помочь доброму рассудительному хозяину, лентяй да неряха баню строить не станет.

— Готово, — из парной высунулась кудрявая голова Графова. — Тур второй. Нервных просят подождать.

Ввалились всей гурьбой. Каменка полыхала нестерпимым жаром, желтые, пахнущие смолой лавки были горячи, а стены чуть потрескивали. Сидели рядком молча, расслабившись, давая одолеть себя жгучему пряному теплу.

— Ну что, с богом? — Володя скатился с полка, зачерпнул полный ковш кипятка и плеснул на раскаленные камни. Пар мигом взвился вверх, Бочков зажал уши, беззлобно ругнул Графова, а тот закинул еще один ковшик воды и бросился наверх, прихватив штук шесть веников. И пошла парилка! Березовый дух смешался с сосновым, ноздри холодило от мяты, каждая косточка, каждая клеточка тела искала движения, даже не верилось, что всего час назад ноги еле отрывались от земли, а кисти весили чуть ли не пуд.

— А ну поддай еще! Ух, жарко! Еще давай, слышь?

— Кому компресс, мужики?

— Кто замерз, ребятишки?

— Ты куда, Вася, мы ж с тобой про сауну не договорили?

В предбаннике, отдыхая после третьего захода, с наслаждением пили холодный брусничный квас. Усталость, напряжение последних дней как рукой сняло, но говорить не хотелось, блаженство, легкость, покой и радость хозяйничали в душе, не оставляя места для других чувств. Байков сидел, откинувшись на лавку, разглядывал сочную траву, полоска которой виднелась в приоткрытую дверь, и вдруг неожиданно для себя вспомнил «Теркина»: «В жизни мирной или бранной, у любого рубежа, благодарны ласке банной наше тело и душа». Оказывается, вспомнил вслух, потому что по лицам ребят увидел, что лучше не скажешь, а уж больно хорошо было, чтобы промолчать... Говорят, у человека десятикратный запас всего — и физических сил, и нервов, и здоровья. Вот ведь и сегодня: два часа назад — разбит, устал, ничего не хо-

чешь, ни на что не годен, а сейчас прямо молодец — хоть обедай за троих, хоть с гитарой к костру, а можно и на репетицию...

XII

В январе семьдесят девятого рельсы шагнули на Бурятский участок. Ходаковский сдержал слово: на перевале Даван бригада Лакомова передала укладку Бондарю. Что скрывать — не было на БАМе человека, который не мечтал бы работать именно на укладке пути. Не из тщеславия, не из надежды вырваться вперед, «впасть в поле зрения» — нет. Непередаваемо чувство, когда ты, хлебнувший и просеки, и холода, и мошки, и тревожного сна перед вахтой, видишь наконец, как с каждым «шагом» путеукладчика расстояние до цели, к которой идут десятки тысяч людей, сокращается на длину одного звена — на двадцать пять метров. И ты к этим зримым метрам причастен. На Даване Бондарь и Лакомов встретились как старые друзья: много раз за эти годы пересекались их жизненные пути.

— ...Мы ждали их в Магистральном в пятницу — со спектаклем «Заседание парткома». Пришли на спектакль всей бригадой. Проходит час, наших артистов нет. Потом звонят: сидят в автодрезине на Ние, перегон занят, будут к двенадцати часам ночи. А утром пришли звенья, и мы уехали к Улькану на укладку. Первое, что спросили бондаревцы, придя в клуб: «Где бригада Лакомова? Придут на спектакль?» А мы в этот день работали допоздна... — вспоминал Вячеслав Аксенов.

Теперь «театральную» бригаду свела с Лакомовым дорога.

Байкальский хребет, который позже будет пробит семикилометровым тоннелем, лежал по ходу стройки, и было решено проложить обходной путь по перевалу. А это значит — забросить на перевал рельсы, шпалы и все строительные материалы, а потом вести укладку вручную: механический путеукладчик работать на даванской высоте не может, слишком большой уклон. Вот в какую минуту сбылась мечта бондаревцев — они стали монтерами пути. Всегда горячо было

на стройке, но даванские дни не сравнятся ни с чем. Ходаковский рассказывал, что люди, незадолго до штурма Давана подавшие заявление об уходе, забрали их обратно, а контора СМП была завалена письмами от добровольцев со всей трассы: «Хочу работать на Даване. Согласен на ночные вахты».

В те дни кто-то написал на серой отвесной скале: «Сильный останется, слабый уйдет». Потом эта надпись исчезла — то ли скалу взорвали, то ли ландшафт, изменившийся по воле человека, скрыл ее. Но осенью, как заклинание в этом неуютном, замораживающем душу уголке Байкальского хребта, появилось — белой краской на серой скале: «Мы покорили тебя, Даван!»

Вряд ли были причастны к этой надписи бондаревцы, да это и неважно теперь: свой рабочий день они начинали в семь, завершали в полночь.

Длилась еще календарная осень, но стояли морозы, одолевали снегопады.

И час победы настал. Прошел первый поезд с почетными пассажирами по маршруту «Станция Лена — разъезд Даван». За окном проплывала тайга — прозрачная, светлая, с большими полянами, белая от березовых стволов и густого, пушистого снега. Там, за горами, была Бурятия, был загадочный Витим, еще дремавший в ожидании первого десанта, и промежуточные цели, которые дадутся так трудно, — Гуоджекит, Северобайкальск, Нижнеангарск, Уоян, Янчукан, Муякан, Таксимо... Но уже в первые после стыковки на Даване дни, когда бригада обживалась в новой для себя роли, осваивала звеносборку, готовилась к укладке первого километра на восток, на их рабочих касках появилась надпись: «Звездный — Витим». И портрет Байкова в этой каске можно теперь увидеть в Северобайкальске и Ленинграде, Харькове и Чухломе, Москве и Ташкенте. Но все это будет потом, а пока надо идти и идти...

Еще в школе, начиная в красной записной книжке свой дневник, он выбрал к нему эпиграфом слова Юрия Германа: «Надо идти и идти, надо шагать своей дорогой, пока есть силы, и по возможности улыбаться изо всех сил, улыбаться, вселяя бодрость в своих товарищей». И с тех пор, подстегивая себя, он часто повторял: «Надо идти и идти...»

А осень отлетела, стояла суровая зима, но они уже

свыклись с морозами, точнее, стерпелись, да и дел было не занимать ни на трассе, ни в театре, где устроили и «Литературный салон», в программе которого театральные чтения для взрослых и детей по русской и советской классике. Анатолий, как всегда, был деятелен, но удовлетворения не испытывал: время идет, а главного спектакля они пока не сделали.

— Слушай, кажется, все хорошо, — осторожно говорил Володя Графов.

— Нет, мы обрастаем привычками, вяло думаем, теряем темп...

— А конкретно чего ты хочешь?

— Не знаю, не знаю... — Байков злился не на шутку. — Не знаю, хотя и понимаю, не имею на незнание прав!

На укладке дни были напряженными (собственно, а иначе и быть не могло), и Анатолий вкалывал наравне со всеми, не чувствуя боли в распухшем колене, работал с температурой, не обращая внимания на бронхит. Какие, к черту, болезни, когда дел по горло. Он шел по пути с восемнадцатикилограммовой подбойкой, методично вибрировавшей в руках. Гравий утрясивался, уплотнялся, а Байков ругал себя, что не может одновременно думать и работать, что стоит ему полтора часа помахать кайлом, забивая костыли, или с ломом встать на рихтовку пути, как он обращается только в двигательную силу и мысли однообразно поддерживают эту силу: «Ты мужик крепкий, ты выстоишь! Выстоишь! Выстоишь!» Но к вечеру он «не расклеивался», а, наоборот, бодро напоминал: «Сегодня в девять репетиция».

— Репетиция была не из удачных. — Байков сказал это после некоторого молчания, но Люда и так все поняла по его лицу. В его упрямом невеселом взгляде было столько решимости выстоять, переломить ситуацию, что она не стала выспрашивать подробности. Она сознавала, что спектакль «Как закалялась сталь» — дело непростое, это во многом программный спектакль театра, но Байков, конечно же, поставил перед собой и перед коллективом такие сверхзадачи, что решить их будет ой как тяжело! В минуту раздумья он признался:

— Сложилась трудная ситуация, главный герой на Павку не тянет.

— Может, требуешь от него невозможного?

Он хотел ответить, повернулся к ней, она гладила распашонки и складывала их стопочкой. Стопочка была довольно высокой, вот она покачнулась, он вскочил и поймал распашонки у пола. Разогнулся и, продолжая держать их в руках, подошел к занесенному снегом оконцу.

— Те, кто придет смотреть спектакль, хотят увидеть именно Павку Корчагина. — Анатолий положил на стол распашонки, взял книгу «Как закалялась сталь». Книга распухла от закладок, последнее время он с нею не расставался. — Вот хотя бы: «Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег...» Мало обмотать горло полотенцем, надеть калошу, привязать веревкой подошву сапога и в бешеном темпе махать лопатой. Надо сыграть состояние великого нравственного напряжения, сосредоточения всех душевных сил, а точнее, всех сверхсил, которые движут этим худым, изможденным, тяжело больным человеком.

— Толя, а можно сыграть силу духа?

За окном плавали большие снежинки. Они были узорчатые, парили неторопливо, летели как-то особняком одна от другой, напоминая небольших бабочек. Наверно, это был последний в этом году снег. Байков, прижавшись лбом к холоду окна, подумал: «Белый пепел моих надежд!»

— Так можно сыграть силу духа? — Люду заинтересовало это всерьез.

Он молчал.

Она подняла на него глаза и поразилась: «Как он похож на Островского. Может, потому, что думает о нем, о книге, о спектакле?» Потом, когда он будет лежать в больнице, она не раз поймает себя на мысли: «Похож, действительно похож. Может, это не внешнее сходство?»

Да, Павку надо было играть самому Байкову. Почему же он не стал играть Корчагина? Ведь если учесть

внешнее сходство, сходство темпераментов, общность нравственных позиций... Но Байков чувствовал: играть Павку ему надо было раньше, он опоздал. А вот для режиссерской работы над этой темой как раз созрел, он может и должен поставить действительно хороший спектакль о комсомоле, о светлой энергии, которая сделала БАМ гражданской и нравственной эстафетой Боярки.

Он верил в свою театральную группу, знал ее возможности, он верил и в себя как в режиссера. Именно эта вера диктовала ему строки письма к жене Николая Островского: «Ваш приезд в Кичеру стал бы для всех нас большим праздником. У нас сейчас прекрасная погода, как и везде — весна. Скоро вскроется Байкал, и Бурятия предстанет во всей красе. Ждем в гости...» Это было не только официальное приглашение, Байков в присущей ему энергичной манере попытался высказать и свое творческое кредо:

«...Срочно нужна просека под ЛЭП, под магистраль, нужен обработанный материал для пилорамы. Лес валим целый световой день — с семи утра до девяти вечера — только чувствуешь в ладонях неимоверную жару, намокшую потом робу и невыносимое гудение ненасытных комаров. Так доставались трудовые победы кичерцам. Поэтому есть у нас и дезертиры, будем их прямо так и называть, хотя редко кто сейчас произносит это слово. Мы стали проще, мы не говорим громких слов, а просто соглашаемся и думаем: «Валяйте. Мы и без вас обойдемся, все равно обратно вернетесь». И некоторые возвращались.

На плечи нашего театра «Молодая гвардия», созданного в бригаде, ложится двойная нагрузка: необходимо организовать отдых для строителей, для себя — творческое настроение. Театр по-своему решает и проблемы, возникшие с некоторым расхолаживанием комсомольской организации и таянием рядов отряда.

Мы решили возвратиться к славным традициям истории комсомола, воплотить образ Павки. Это должен быть серьезный разговор о нравственном воспитании современного молодого человека. Мы не должны запираться в рамки пьесы и играть спектакль, раскрывая только художественное произведение. Мы должны идти дальше. Настроить зрителя на откровенный разговор может только рассказ о правде жизни, о подвиге

писателя. Поэтому мы решили, что вести спектакль будут несколько участников театра, и каждый будет рассказывать об одном из этапов мужания, зачитывать письма. Цитаты из выступлений и сцены из романа пойдут наплывом, как воспоминания Николая Островского.

Роман «Как закалялась сталь» мы перечитываем, устраиваем дискуссии. Он для нас яркий пример стойкости духа... Такие люди, как Николай Островский, вызывают у нас большое доверие. Сотни тысяч людей, учась у Островского, повторяют его подвиг, побеждают недуг и верят, верят в светлое будущее. А девиз: «Да здравствует пламя жизни!» — стал девизом многих...»

После тяжелой зимы людям хотелось в тепло, тянуло в родные края. Но Анатолий вопрос об отдыхе даже и не поднимал и на письма из дома отвечал:

«Когда буду брать отпуск — не знаю. Дело в том, что пора очень напряженная: и в бригаде, и в театре. Сейчас мы работаем непосредственно на трассе БАМа, доводим ее до завершения, то есть готовим к сдаче. Меняем и выпрямляем рельсы, устанавливаем нужные зазоры. Работа для всей бригады новая. Сначала было трудновато, сейчас уже натренировались. Вечерами тем же составом репетируем. Делаем новый спектакль. Вчера на репетиции присутствовал режиссер из Иркутска — ему очень понравился коллектив».

В такие минуты у некоторых нет-нет да проявлялась «звездная болезнь». Да и трудно ее избежать: телевизионщики днюют и ночуют с ними, документальное кино тут же, от журналистов отбоя нет... И как-то Байков не выдержал, потушил свет, открыл дверь и сказал телевизионщикам: «Уходите! Нельзя нормально жить в аквариуме! Нельзя!!!»

На следующий день, когда присели отдохнуть, к Байкову подошел Бондарь:

— Ну, Толя, отлегло?

Байков посмотрел на Бондаря зло:

— Саша, ребята главного не понимают. Эти все хвальбы, рецензии, интервью — это нам за БАМ приписывают. Если бы мы были в другом месте, ничего подобного не было бы! Понимаешь, не было! А они обольщаются, у многих может развиться чувство этакой исключительности. БАМ мы закончим. И будем жить в нормальных человеческих обстоятельствах, без

всякой экстремальности, без оркестра, без телевизионных передач. И мы не должны ощутить себя несчастными, обделенными людьми, у которых все в прошлом. Мы сейчас не только дорогу строим, играем в народном театре, мы создаем себя, свое отношение к миру. Потом на нас будут смотреть дети наши и чужие дети, люди будут смотреть и говорить: «Вот они строили БАМ». И мы должны быть достойны этих слов.

— Толя, — Бондарь приподнял шлем, вытер потный лоб заскорузлой ручищей. — Наши хлопцы не подведут. И «Как закалялась сталь» получится, вот увидишь.

Бондарь встал. Отдых окончен. Все быстро поднялись. Бондарю показалось: крайний костыль плохо вбит, он взял кайло и так долбанул крылатым молотком — по рельсам гул прошел. Этот гул вернул ему привычную уверенность в себе. Он любил материальный, живой мир, в котором можно, покряхтывая, нарубить дров, втащить в баньку тяжеленный камень, раскалить его, плеснуть воды, и когда все застится молочным, густым паром, вдоволь попариться, а потом выскочить на снег... Он любил глубоко, с хрустом врезать в грунт совковую лопату, подставлять плечо под рельс, любил сочную, хорошо протушенную баранью лодыжку, и каждый день, ясный или темный, приносил ему радость бытия. Но Бондарь понимал, Байкову всего этого мало, он ищет что-то еще, часто не находит, злится. Иногда Бондарь и сам ощущал нематериальную прелесть этого «что-то», так необходимого Байкову. Он даже помнил это необычное состояние после премьеры «Заседание парткома». И попробовал определить словами: «...Как летал во сне. А проснулся... сколько ни маши руками, не взлетишь...»

Байкову после разговора с Бондарем стало легче. Была минута, когда он поверил: спектакль получится, проделана ведь громадная работа, изучены многие архивные документы Островского, дневниковые записи, собраны материалы по сегодняшнему дню стройки. Все это композиционно выстроили, продумали буквально до мелочей...

Но прошла генеральная репетиция. Байков готов был колотить кулаками по столу, сдерживался, хмурился. Все вроде бы шло, как надо, и все же было не

то. Главному герою далеко до Павки, зритель в него не поверит! Но вина ли только главного героя? Откуда острая, физически ощущаемая неудовлетворенность? Современное прочтение подвига Павки, оптимистической трагедии Боярки — прежде всего режиссерская задача. Без этого спектакль не состоится.

— Ничего, — Люда полила горячие пельмени уксусом. — Ничего, ребята, вот увидишь, разыграются.

— Нет, — он хлопнул ладонью о край стола. — Нет. Я должен его достроить или даже переписать. А на данном этапе — тупик...

— Сейчас два часа ночи, вот и тупик.

Анатолий встал, обнял Люду за плечи.

— Ты молодец! О каком тупике я заговорил? Ты умница! Уже ночь, ты устаешь с Юлькой, а я не даю тебе спать. И ты мне объясняешь то, что я должен сам понимать.

— Толь! Это Юлька? — Люда напряглась. — Нет будто. На улице что-то.

Они подошли к кроватке. Посапывая, крепко спала годовалая дочурка.

— Ну, я тебе и жизнь устроил. Среди ночи — худсовет.

— Да уж, — она вернулась на крохотную кухоньку. — И пельмени разогревать надо.

Кичерская пора была прекрасна! Многие ребята женились, обзавелись домами. Крепкими, рублеными, «самостроевскими», где жили по две семьи.

...С жильем в Кичере было трудно. Часть бригады работала в тайге на просеке, выполняя бригадную норму, другая строила в поселке дома. Окрестили этот кичерский метод «самостроем», но ничего общего с печально известными на БАМе да и на других стройках «нахаловками», бичом новых поселков, он не имел. Застройка шла по общему плану с учетом архитектурного облика будущего города, материалы им выделяли, а это значит, не соорудят хибар с загадочного вида стенами и крышами; да, и работалось вместе споро, радостно. Носился меж желтых срубов Володя Графов, самый лучший «самостроевский» специалист — подсказывал, прикидывал, снабжал. До БАМа, между прочим, топора в руках не держал, а теперь строил целую улицу. И как! Людям на загляденье. Помня уроки Звездного, бережно обошлись с тайгой: вписывали улицы в естественный ландшафт,

не пришлось на месте вековых сосен сажать и привязывать к колышку тоненькие деревца... У многих крылечек среди свежей стружки и опилок весной вспыхнут кустики цветущего багульника. Через много лет ранней весной так же смогут подивиться этой красоте внуки.

Улицу бондаревцы назвали Театральной. Гордились своими домами. Были в домах кладовки, в кладовках низки сушеных грибов, банки с брусникой, засыпанной сахаром, мешочки с лекарственными травами, семена, присланные с запада, чтобы на следующий год попробовать посадить перед окнами зелень и овощи. А Иван Машков, славившийся особым трудолюбием и золотыми руками, сложил у себя в гостиной камин, который и для обогрева был хорош, и для шашлыков, и для вечерних посиделок с гитарой. Фотография этой гостиной с камином обошла страницы зарубежной прессы, мелькала много раз в фильмах и книгах о БАМе.

— Мне не нравится, когда центром тяжести делают гарнитуры, камины. — Был снежный схваченный морозами февраль. Прежде чем закрутить болт на гайку, их разогревали над костром. И теперь они стояли у костра, Байков и Графов, и Анатолий осторожно натягивал рукавицу на забинтованную ладонь. — Граф, в камине нет ничего дурного, но если он становится точкой, в которой сходятся все перспективы...

Графов смотрел, как Байков, сбивая бинт, втискивает в окаменевшую рукавицу пальцы, и невольно морщился. Боль других он ощущал острей и мучительней, чем собственную. Эта чужая боль не имела определенной точки в теле, она растекалась, мучила, и он, подкладывая в огонь полешки, молчал, борясь с этим, как он считал, не вполне мужским чувством. Зимой они, бывало, ранили руки, от мороза движения становились менее четкими, и вот Байков нечаянно взялся голой ладонью за цепь, клочка кожи как не бывало.

Денек был не из легких. Сыпала назойливая колючая крупа, будто кто-то фыркал прямо в лицо мелким ледяным песком. С утра на востоке постояла багряная прорезь, но ни солнца, ни неба они не увидели — одна мгла, свистит ветер, и где это — на земле или в запредельных территориях, кто скажет? А тут еще эти стихи на шифере:

Ты перегон пройдешь за месяц,
А нам на это нужен год.
Не думай, что твои путейцы
Достойнее, чем наш народ.

— Не дают мехколонне наши лавры покоя, вот и кусают. — Бочий кивнул Ивану Машкову, но тот нахмурился, промолчал.

— Конечно, о нас пишут больше. Мы на острие укладки. — Рапопорт пытался быть справедливым и по отношению к мехколонне. — Но доверие заставляет нас вкалывать, в глазах черно. Конечно, нас подхваливают, но тем самым как бы говорят: «Давайте, нажмите!» И нажимаем!!!

Слава Огородничук не спешил докладывать свое мнение, он вообще был молчалив, но работал честно, последним садился на перекур, первым вставал, а когда приходил фотокорреспондент, то как раз Огородничука не оказывалось на снимке. «Где-то тут был, а куда ушел...» А сейчас сказал:

— Тут есть своя правда, журналисты сделали несколько имен паролем БАМа. Мне кажется, это не всегда верно.

— Слава, — Бондарь взял его за рукав, — ну разве мы не говорим всем «спасибо!»? А когда «Рабочую эстафету» проводили, кто им доставал технику, запчасти, кто рассказывал, как дела обстоят на трассе.

— Я тоже против этих показательных передач, — Байков провел рукой по шиферу. — Они нам врезали с обиды, хотя тут есть и свои объяснения. Нашу работу оператору показать легче, много динамики: идет путеукладчик, кто-то что-то кладет, забивает, трасса растет на глазах. Одно звено — двадцать пять метров. А что самосвал? Подъехал, насыпал гравий, отъехал. Это где хочешь снимешь. И телевизионщики идут по легкому пути. Берут самое зримое, что само в руки валится. И журналисты хороши! Сколько невероятных историй наплели. Тот парень, журналист, что нырял в прорубь, когда машину надо было вытащить, что потом написал? Написал — в прорубь при пятидесятиградусном морозе прыгнул с тросом бамовец. Кому это нужно? Тот, что прочтет это дома у телевизора, ему все равно, кто нырял и за чем, а на трассе парню житья не будет...

— Ладно. Нам надо так работать, чтоб никто не

подкопался, — и Бондарь глянул на часы. — Скоро автобус придет.

Через час пришел автобус, все забегали — на выходные уезжали в Кичеру. Обычно автобус задерживался, а тут появился раньше. Графов всю дорогу мытарился: стоило задремать, начинал мерзнуть. А может, его донимали разговоры? Вполне обычные: шутили, громко, хрипло смеялись простуженными голосами, советовали друг другу, как лучше утеплить дом, говорили и о талонах на дубленки, на сапоги, о том, чья жена мечтает о джинсах и какой именно фирмы. Бондарь сказал: достал ящик гвоздей; кто-то посетовал: нет в магазинах крышек, а то можно бы на зиму консервировать ягоды. Автобус дернулся, у Графова небольно, но неприятно хрустнуло в шее. Задремал все же. Теперь ругали снабженцев: заморозили на путях вагон с капустой... И Володьке Графову (а побригадному Графу) захотелось капусты. Как ее дома, в Орле, солили, прямо вилка́ми, как сочно и хрустко отламывался лист, пропитанный пряностями.

— А вы знаете, как вилка́ми капусту солить?

— О! — Бондарь причмокнул и поднял палец вверх. — Это настоящее искусство, и еще немалое дело в бочке, из какого она дерева.

Кто-то расхохотался. А Граф, на полном серьезе вслушивающийся в рецепт, обернулся и пробурчал:

— Тише, что ли! — И тут увидел Байкова. Байков сидел вместе со всеми, но был как бы один. Его лицо, серое от холода, было хмуро, брови сбежались на переносице, смотрел он на затоптанную резиновую дорожку, покрывавшую пол автобуса.

Все могут короли, все могут короли...

— Вруби громче! — крикнули водителю автобуса.

Все могут короли, все могут короли,
И судьбы всей земли вершат они порой,
Но, что ни говори, жениться по любви
Не может ни один, ни один король...

За окном сплеталась и расплеталась лента тайги, так называемая неосвоенная пионерная территория. Но парни, уставшие за неделю на морозе, были рады отвлечься от ее вида, они подмигивали друг другу,

насвистывая мелодию шлягера этого лета. И Байков поддался ритмичному настрою, думал: есть и Пугачева, есть и большие города, и там миллионы своих жизней, может, я пытаюсь загнать ребят в узкий коридорчик своей вкусовщины? Он вздохнул, ему хотелось поговорить, но вместе с тем понимал: это вопросы, которые ему решать один на один с самим собой. Он раздышал кружок на стекле, солнце садилось за обледенелый перевал. Небо было глухо-свинцовое, в нем стояла пугающая недвижная вечность. В городах такого неба не увидишь, оно отодвинуто телевышками, световыми газетами, электронными табло, витринами, да там оно и другое. «Кажется, осваивая землю, люди приручают и небо», — Анатолий потер лоб, расправляя складку между бровями.

Быстро темнело, вспыхнула и померкла латунная блестящая полоска заката, зажглась зеленая низкая звезда, потом горсть звезд над дорогой, когда же въехали в Кичеру, был уже восьмой час вечера. Тепло, оранжево светились в белых снегах окна. Графов выпрыгнул из автобуса, потянулся, было приятно размять затекшие мышцы. Парни прощались, кто-то быстро дообъяснял, как перетягивать обшивку на диване.

— Репетиция будет? — спросил Снеговой.

— В одиннадцать, в клубе. — Анатолий почувствовал, что торопится домой, к Люде, к дочке, но подавил желание идти быстро. Суббота практически кончилась, назавтра им предстояла обратная дорога на трассу.

Репетиция началась ровно в одиннадцать вечера. Пунктуальность была его слабостью, и, как другие к ней ни относились, им приходилось считаться с мнением режиссера. Люда Макловская, учительница Кичерской школы, пришла пораньше, ей хотелось побыть одной, немного войти в образ Марии. А еще она не хотела лететь сломя голову, успевая ровно к назначенному времени. «Да, у некоторых точное время — пунктик, и препротивный. Им, главное, успеть бы ровно в семь или ровно в восемь. Вот сказали — ровно, — и все! И таким людям обычно уже не так важно, или, точнее, менее важно, что будет после восьми. Их распирает гордость, что они блюдут точность, а остальное за пределом этой точности уже постольку-поскольку, — защищала Макловская Байкова

от обиды некоторых, ведь было: кто опоздает, он и на репетицию не пускал. -- А Байкову важен сам процесс работы. Чтоб все начали вместе. В таком отношении к театру он видит профессионализм». Лично ее репетиция в одиннадцать вечера устраивала. Ребенок спит, дневные дела относительно переделаны, и можно полностью посвятить себя театру. Ни школьная, ни домашняя суета не ворвутся в этот час в клуб. Кстати, на термометре в клубе было минус двадцать пять. К ней заглянула режиссер телевидения Мила Сукач.

— Пришли с Максимом Кусургашевым, репетицию посмотрим.

Голос Кусургашева из радиостанции «Юность» Макловская знала хорошо. В семь утра, когда она включала радио, там обычно рассказывали о бригадах, пели бамовские барды — эти передачи вел Кусургашев.

Гости прошли в зал. Поверх пальто Мила Сукач набросила тулуп, на ней были меховые чулки, валенки, но минус двадцать пять не плюс двадцать пять. Кутался в бараний тулуп и Кусургашев.

— Начинаем! — послышался голос Анатолия. Люда Макловская слышала: он не в духе, не любит, когда на репетиции чужие: пока ребята забудут, отвлекутся от сковывающего присутствия прессы, пройдет час-полтора.

Байков стоял на сцене, как всегда, в костюме, наглаженный, вызывающе опрятный. Он сказал несколько слов о Распутине, о его спектакле «Деньги для Марии». Подчеркнул: Валентин Распутин, сам коренной сибиряк, из Усть-Уды, но понятие Сибири у него расширено до символической Земли людей. И они должны попытаться передать нравственность его произведения, наполнить каждое слово болью, любовью, протестом. Он говорил, и белый морозный шар дыхания не отрывался от губ. Уже от вида этого шара Макловская замерзала. Но стоило ей накинуть на платье пальто и шагнуть к деду Гордею, в роль, как она забыла про холод, очутившись в сибирской избе женщиной, раздавленной горем.

— Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помогали? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь... А теперь все за деньги. Огород спашет — де-

сятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги... — Володя Снеговой говорил это так горестно, так горько, что у Люды Макловской сжалось сердце: «Эта волна «вторичных бамовцев», нагрянувших сюда за талонами, за тряпками. Да и только ли «вторичные»...»

— Нет, нет, — Байков подошел к Снеговому. — Пóмочь, ударение на первый слог: так и называлось — пóмочь... А теперь... тут пауза, деду тяжело выговаривать эти слова, он не совсем понимает, как так случилось, что в человеческие отношения привнесено это жесткое, расчетливое: «ты мне — я тебе», но не понимая, он осуждает, осуждая — жалуется: «А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка...» Дальше он взрывается, гневается, протестует, отвергает «дай за дай», и кончает тоном, каким обычно старики вещают, дескать, смотрите, чего вы, молодые, добились: «а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги...» Вы не должны забывать, должны про себя все время помнить подтекст этой вещи: не замыкайтесь только в своем доме, не оставляйте чужую беду за забором, умейте жить по-человечески!

Байков был в ударе. Люда Макловская не знала, с каким чувством он ехал сегодня в автобусе, как прислушивался к разговору о гвоздях, джинсах, дубленках, но прекрасно понимала, о чем он говорит, против чего протестует — не надо погрязать в «хапанье тряпок», не надо сходить с ума в погоне за «фирмой», вам кажется, это ерунда, для вас не главное, вы делаете большие дела, а это так, параллельно, но такого не бывает. Эти параллели быстро пересекаются, вы не заметите сами, как погрязнете в доставании, пересылках на материк, заботах купли-продажи все более модного, более суперфирменного. И все. Произошла переориентация, был человек, стал жучок.

В зале журналисты перешептывались.

— Я больше не могу. Я окоченела, — Мила Сукач посмотрела на часы: пятнадцать минут четвертого. — Завтра они все воскресенье потратят на обратную дорогу. Ну и Байков! Это же репетиция, а он их заставляет работать, как говорят балерины, в «полную ногу».

— И в полную душу, — усмехнулся Кусургашев. — Конечно, он максималист, но, видно, ребята делают скидку на его характер, потому что во втором плане его нельзя обвинить. Он абсолютно бескорыстный человек.

— Я хочу по-журналистски «добраться» до Распутина, сделать передачу, — Мила едва шевелила замерзшими губами. — Смотрю репетицию, сколько пластов в распутинских вещах... Вы знаете, я, наверно, пойду. Уже четыре часа, а не то мне эта репетиция обернется воспалением легких.

Репетиция спектакля «Деньги для Марии» все продолжалась. Звезды над Кичерой достигли предела своей яркости, их ледяным свечением заполонилось дикое бездонное небо, потом они стали размываться, блекнуть, как будто на небесное черное стекло надышал кто-то громадный и оно запотело, и сквозь него смотрели уже гаснущие утренние звезды. И вот латунная полоска восхода блеснула над перевалом...

Люда Макловская вспомнит об этой репетиции как о самом счастливом миге своей жизни. Вспомнит внезапно, в отпуске, когда одна из ее институтских подружек скажет: жизнь прошла, не состоялась. Квартира есть, машина есть, муж есть, и дети даже есть, а жизни нет. Люда отметит странную последовательность в перечислении предполагаемых благ, но не подчеркнет это, а просто расскажет про репетицию «Денег для Марии», расскажет о Байкове, который тогда еще был с ними, и, казалось, будет всегда.

— Все это, милая, уже было-перебыло, и неново. Комиссар? Но это как посмотреть на вещи, по-моему, просто ушибленный идеей.

Люда замерла. Некоторое время ей казалось, что все, надо бежать от этого бесконечно чужого человека.

— Ты директор школы, очень престижной?

— Да, да... Хлопоты и суета. Как сказано у Орлова в «Альтисте» — «будохлопы и хлопобуды».

— Да, бедная. Я заметила, люди, которые, по существу, ничего не делают, сбивают себе житейский капиталец дешевенькой иронией. Это форма защиты. А Байков делает. У него была мечта — создать театр внутри жизни, в самой жизни, и он его создал, он — осуществился, воплотился. А кто делает открытия, кто делает вещи необычные? «Ушибленные идеей», ненор-

мальные, с точки зрения обывательской. Эти «ушибленные идеей» чем-то не похожи на «здоровых», неушибленных, что и вызывает ярость и ненависть. Это естественно, вся история на этом держится.

— Ну, Людоха, даешь! На своем БАМе стала сектанткой. И что, в школе так же вещаешь?.. Н-да, признаюсь, в свою школу я тебя бы не взяла, наших детей этими методами тридцатых годов не воспитаешь. У них от этого аллергия.

— Жаль мне этих твоих детей. Что будет с ними после школы?

Вернувшись в Кичеру, Люда рассказала Байкову об этой встрече. Или она, рассказывая, смягчила краски, или уже отболело и поэтому не вложила в рассказ святую ненависть, которой была охвачена в отпускной вечер, но Байков, как ей показалось, не проникся.

— Она и должна так говорить. А вот мы не могли до сих пор поставить «Как закалялась сталь» — почему? Нам еще не хватает нравственной силы, опыта, чистоты, чтобы создать образ современного Павки. Меня однажды спросили: «А силу духа сыграть можно?» Я тогда не ответил, вопрос слишком в лоб... Но сейчас понимаю: нельзя и нельзя, вот чего нельзя сыграть. Все игранное будет вылезать, раздражать, получится не Павка, а «дитя плаката». И нет хуже, чем эта ложь! И режиссер, и все, кто будет занят в спектакле, должны быть действительно сильны духом.

XIII

На Бурятском участке у бригады Бондаря появился свой дом на колесах — они называли его «бронепоезд». Спальные вагоны, столовая, баня и, конечно, клуб. На борту клубного вагона красная надпись: «Народный театр «Молодая гвардия», портрет Ильича и слова — «Искусство принадлежит народу». Рядом с вагончиком — оклеенная репертуарными афишами тумба. Ее выставляли сразу, как только бригада вслед за укладкой перегоняла бронепоезд на новое место. Каждое утро дрезина отвозила бондаревцев на участок, а по вечерам они сходились в клубе, чтобы продолжать репетиции, слушать музыку, читать газеты

и письма, в общем, жить той коллективной судьбой, которая свела их много лет назад под крышу первой звезднинской палатки. По сравнению с теми временами это был верх комфорта. Но в Кичеру, к семьям, они после двадцатидвухдневной вахты рвались с долгожданной радостью. Восемь дней дома, но репетиции, спектакли продолжались, и никто не роптал: жизнь без театра просто и представить себе было невозможно. Театр стал частью их бытия, и не просто частью, а самой проверенной и надежной формой духовной жизни.

Была очередь Байкова дежурить на кухне. С утра носил воду, колол дрова, мыл пол. Сегодня больше обычного болело колено, слабость, голова словно чугунная. Но он ничем не выдавал своего состояния, был, как всегда, малоразговорчив, не жаловался. Однако Графов заметил, что с ним неладно.

— Простудился? Температура небось? Может, приляжешь?

Он никуда не пошел, сказал, что так, настроение. Целый день спуска себе не давал, и боль отступила, растворилась, а к вечеру почувствовал себя намного лучше. Поужинали. Ребята присели — кто письма писать, кто штопать, кто развешивал поближе к теплу мокрую робу, а он, завершив последние кухонные хлопоты, достал свои тетрадки.

Он готовился к поездке в Ленинград, где четвертый год занимался в лаборатории режиссеров народных театров у Болотова. На вахте Анатолий обычно делал пометки к работам, а в Кичере шел в библиотеку, заказывал нужные книги.

— Как называется сей труд? — Бондарь вернулся от начальства в хорошем настроении, о его ребятах говорили только с восклицательным знаком после каждого имени.

— «Парадоксы любительского театра».

— Ну и «богато тых парадоксов»? — шутливо прищурился Саша и сам же ответил: — Мы с вами, хлопцы, как артисты, живые парадоксы, но зато стараемся...

— На комплимент нарываешься? — Рапопорт перекусил нитку, попробовал, крепко ли пришита пуговица. — Толя, слышишь?

Байков кивнул: тут я, тут, а сам не оторвал пера от бумаги:

«Люди приходят в народный театр настолько открытыми, искренними, что иногда боишься, как бы не увести в сторону, как бы не загубить в человеке свежесть чувств, реакций, восприятия, хотя к некоторым нужны очень «хитрые» ходы, чтобы вскрыть этот ларец с драгоценностями. С другой стороны, чем больше и суровее требуешь от некоторых участников, тем они тебе благодарнее. Это меня поражает. Человек, отработавший физически полный световой день, имеющий семью, детей, никогда ранее не занимавшийся самодеятельностью, добросовестно старающийся на репетиции или спектакле, обижается, если при разборе упомянешь о нем в общих выражениях, не сделаешь подробный, дотошный анализ. Он требует не похвал, а критики! Он ощущает себя полноправным членом коллектива и чувствует себя нужным, только если спрос на высоком уровне. Меня удивляет и радует это ошеломление театром.

Теперь сердце человека открыто для восприятия глубоких и серьезных вещей в искусстве и жизни. Работая с актерами-любителями, я вижу, как они почеловечески растут, как дорожат правом выходить на сцену. Внутренний огонь, который не дает им покоя, огромное желание «научиться плавать» и «овладеть стихией» иногда творят чудеса.

Был у нас в коллективе случай, когда мы полтора года одного из своих друзей, который стеснялся небольшого заикания, не могли увлечь театром. Но когда увлекли и в нем проснулась творческая тяга — он, выходя на сцену, постепенно избавлялся от своего природного речевого дефекта. Вероятно, тут помогло огромное желание научиться и не подвести.

В процессе работы, особенно многолетней, коллектив становится настолько монолитной и прочной семьей, что жизнь друг без друга уже немыслима. Особенно в наших условиях. Где-то это даже и в тягость, но тягость приятная. И, что бы там пессимисты ни говорили, мы сильны, потому что нужны друг другу...»

Не в этом ли единстве жизненных и творческих принципов кроется сила байковского характера, которая делала его признанным комиссаром бригады Бондаря, и без него, по словам самого бригадира, коллектив сохранился бы, но это был бы уже совершенно другой коллектив. Видимо, не случайно в уставе театра записано: «Жить красиво стремись не только на

сцене, но и в жизни. Не неси в коллектив грязь, ссоры, интриги — оставляй их за порогом. Театр — коллектив единомышленников. Коллективизм, дружба, чувство долга — вот наша основа».

...Март в Кичере. Снежная, предвесенне мягкая зима. Потемнели от влаги указатели на самодельных столбиках: «До Таллина 7175 км. До Ленинграда 6821 км. До Нальчика 7935 км. До Байкала 20 км». Идет стройка, а столбики никто не трогает — это мечта, она неприкосновенна, так же, как знак по дороге в Кичеру со стороны Нижнеангарска: «Осторожно! Берегись поезда!» Еще годы до первого тепловозного гудка, но знак уже стоит...

А бондаревцы готовят своим женщинам праздник. Геннадий Титов, что бы ни делал, насвистывает мелодию: за ним — стихи и романсы. Один, как ему показалось, удался; напел Бочкову, тот слушал, пощипывая ус. «Что тебе сказать? «Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем». — «К чему ты? Это же Пушкин...» — Геннадий побарабанил пальцами по сиденью стула. «Значит, тебе есть с чем сравнивать». Володя Бочков ушел, довольный шуткой, а Титов смотрел на замерзшее окно, и ему было невесело. Но тут послышались голоса, Байков хлопнул в ладоши, воскликнул: «Геннадий, ты будешь ответственным за синюю вазу». И Титов увидел цветы. Мимозы и тюльпаны. В заснеженной Кичере, где перед глазами каждый день были стройматериалы, обледеневшая железная арматура, тяжело дышала настывшая на морозе техника и сопки щетинились серым мелколесьем, бледно-зеленые стебли и большие головки розовых в красных прожилках тюльпанов поразили его до онемения. Он знал, что Володя Заботин летал за цветами в Ангарск, знал, что это должен быть один из сюрпризов девчонкам, но не представлял, как на самом деле прекрасны могут быть эти мелкие пушистые шарики мимоз, как волнующе они пахнут... И Титов написал стихи, где были и неразделенная любовь, и разделенная дружба, и тоска по солнечному, насыщенному ароматом весны краю, и невозможность оставить эту горбатую и снежную землю, куда он пришел по собственной воле и откуда не уйдет долгие годы, а может быть, и никогда не уйдет. Байков слушал и делал на

заледеневшем стекле круглую отдушину, и в эту отдушину открывалось синее, синее небо, и Титову казалось, что и в комнате стало светлее, и в жизни его светлее, и какая-то весенняя тревога звала его вырваться сквозь эту синюю отдушину.

— Получилось! — Анатолий положил ему руку на плечо. — Ты напишешь стихи и для спектакля...

И наступил вечер. Мужчины были в белоснежных рубашках и выглаженных элегантных костюмах, девчонки в модных, самых дерзких по стилю платьях, которые сами пошили, используя выкройки из последних зарубежных журналов мод. Недаром многие из них были костюмершами (что, впрочем, не мешало им исполнять главные и неглавные роли в народном театре), и вот теперь они выказали свое искусство, сочинив милейшие пародии на школу Габриель Шанель, очень ловко уловив «нью-лук» Диора, использовав и линии Пьера Кардена. Их встречали аплодисментами, даря цветы, кроме заготовленных речей, прибавляли и от себя, получалось, может, и не в рифму, но зато сердечно и восхищенно, а Тоху Голянову, единственную женщину в бригаде, которая прошла вместе с ними все снежные версты, внесли прямо с креслом на сцену. Саша Бондарь обратился к Тохе с прочувствованной речью, и она, опустив глаза, прислушивалась, как бьется сердце, и, как тогда утром Титов, думала, что все в ее жизни теперь станет светлее, разумнее и лучше...

Потом зазвучали вальсы, не смолкали почти до утра гитары, а Байков, привычно немногословный, был где-то в стороне, в толпе, и случайный человек никогда бы не подумал, что это он — дирижер праздника. Да, получился теплый, по-настоящему семейный вечер, какого все и хотели. Отношения нравственно-семейные все больше волновали ребят. Какой она станет, моя семья? Как сберечь любовь? И хочется, построив добротный семейный дом, все-таки сохранить волонтерский дух — верный спутник юности. Высокое и материальное — как они уживутся рядом, вместе?

Что это было за время? Время свадеб и рождений первенцев, время путешествий с рюкзаком, надувной лодкой и комфортных международных поездок по линии загрантуризма, время празднований по случаю получения дипломов в вузах, время, как теперь пони-

мается, счастливое и неповторимое, а тогда казалось — лишь начало чего-то еще более важного, лишь разминка перед чем-то значительным, интересным, окончательно счастливым...

Пришла осень. Появились новые заботы у Анатолия. Он проводил в местной школе Уроки мужества, и теперь ребятня, едва завидев его, приветствовала: «Здравствуйте, Анатолий Сергеевич! Когда пойдем в лес?» И, бывало, он улыбался и говорил: «Завтра». И прекрасное завтра наступало.

День настоялся на осеннем солнце; близь была оранжево-прозрачной, даль — бесконечно подробной, виделись просеки на далеких сопках, и при желании можно было пересчитать телеграфные столбы, взбирающиеся на дорогу в нескольких километрах отсюда.

— Анатолий Сергеевич, вон на Байкале моторка отца, — крикнул Мишка Куратов.

— Ври-то! — скривил губы толстый Санек. — Отсюда только точки черные видно.

— А я по звуку наш мотор узнаю. — Мишка оббивал топориком рогалину для костра.

Над леском, над влажной поляной, над сопками дрожал какой-то свободный легкий гул.

— Анатолий Сергеевич, разве это моторка? — Санек приложил для верности ладонь к уху. — Речушка какая-нибудь или ручей.

— Ветер шумит в вершинах, — Анатолий прислушался, — высокий ветер.

Он вместе с ребятней готовил костер, мыл в ручье картошку, складывал дрова так, чтобы картошка в золе не обуглилась, а пропеклась. Вчера он вернулся с вахты какой-то опустошенный, уставший, но в лесу с детьми отдыхал.

— А ветер бывает высоким?

— Да, ветров много. Они носятся на разной высоте, и только синоптики могут предсказать, какой воздушный поток куда потечет.

— А как синоптики узнают? — Санек взял нож и попытался очистить палочку от коры, чтобы помешивать ею в котелке. Получалось у него неловко, стружки летели в лицо. Анатолий протянул руку:

— Дай мне, пожалуйста! — Мальчишка смущенно отдал нож. — И палку! — Анатолий осмотрел будущую поварешку. — Вот так надо, от себя!

— Моя бабушка — врожденный синоптик. — Наташа высыпала на клеенку бруснику, стала перебирать. — Она знает дни, когда погоду предугадывать. — Мальчишки захохотали.

Низко, совсем низко летели дикие утки. Наверно, перелетали с болота на болото.

— Почитайте народные поговорки, там много о погоде сказано. И вообще интересно. Есть хорошая книга «Пословицы русского народа». Ее составил Владимир Иванович Даль.

— Даль — артист. Я видела его по телевизору. — Наташа была довольна.

— Владимир Иванович Даль жил в прошлом веке. Дружил с Пушкиным. Когда Пушкин умирал, Даль был с ним до последней минуты. Даль — еще и врач по профессии, но у Пушкина была очень тяжелая рана, его уже нельзя было спасти.

Ребята притихли.

Потом ели картошку с помидорами, солеными грибами, и Сережка провокационно спросил:

— Вы в детстве дрались?

— Дрался, конечно. Но, помню, мы старались мужество воспитывать и другими способами. В одних трусах залезем в крапиву и сидим, кто больше выдержит. Прочли «Молодую гвардию» Фадеева, захотелось испытать себя.

— Мы тоже в классе дверью пальцы прищемляли.

— Это не испытание, а глупость, — сказала Наташа, по-хозяйски разливая компот. В консервную банку налила и Кошельку. Пес, не поднимаясь, принялся лакать.

— А где тут крапива? — с вызовом нахмурился Мишка. — Где крапива, ну?

— Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, — ворчливо пробормотала Наташка, зная: при Анатолии Сергеевиче Мишка драться не полезет.

— А еще мы играли в театр. Первый спектакль в школе поставили — «Ревизор», по Гоголю. Мне дали роль Городничего. Жил я в маленькой деревеньке, но все-таки достали мне белый пиджак, наверное, единственный на всю нашу округу. Пиджак большой, длинный, а мне тринадцать лет только. Но я пиджаком гордился, воображал: теперь настоящий Городничий — толстый, чванливый. Ходил по сцене и переваливался. И еще грим нам понравился. Взяли каждый

по одной краске и вымазались, думали — вот мы взаправдашние актеры. Все село собралось. Хлопали нам. Иногда, правда, кричали: «Эй, Валька, Тамарка, усы отлепились!» Все остальные роли играли девочки, и Хлестакова тоже.

Анатолий спустился к ручью, он шел, не отводя тонких веточек орешника, хлеставших по лицу, глубоко дыша прозрачным, по-осеннему горьковатым воздухом. Мушка пролетела в такой близи от глаз, что он успел увидеть миг, когда солнечные лучи преломились в крылышках насекомого в радужный спектр. У воды остановился, оперся плечом о березку. Деревце вздрогнуло, сронило неспешно несколько желтых листочков. Они медленно, кувыркаясь, растянутой пружиной приближались к земле. Два застряли в подросте, остальные легли к подножию. Анатолий присел посмотреть, как упали они — верхом или изнанкой. Все лежали верхом, значит, по примете, быть зиме тяжелой и холодной.

Возвращались уже в сумерках.

В дом Анатолий вошел с букетом желтых листьев.

— Люда!

Жена прижала палец к губам. Он увидел: на кухоньке, возле их крохотного стола, сидела его лучшая актриса, лица разглядеть не мог, но по тому, как сидит, согнувшись, опустив плечи, как вздрогнула, услышав его голос, встала, мельком сказала: «Да, да, поздно, простите, я завтра...» — и, не взглянув на него, вышла, понял, что-то случилось. Жена ждала второго ребенка, но не унывала, ходила веселая, бойкая, а тут сразу осунулась.

— Ну? Что стряслось?

— Муж ее приехал из отпуска. — Люда вздохнула. — С женщиной. Ходит и всем ее представляет: «Вот моя новая жена. Я ее люблю».

Вспомнился Байкову тот разговор об импровизации в жизни, вот чем все обернулось. А какой был высокий, осенний день, как медленно падала листва с березок.

Прошло несколько дней, до отказа заполненных работой, не оставляющей пауз для разговора. А разговор между тем был необходим, подходили сроки выхода из отпуска счастливого влюбленного. Бывшая жена молчала. Конечно, женщины ей советовали: «Борись! Твое право. У тебя дите, я бы его, я бы ее...»

Она кивала: «А за что бороться? Бороться не за что...»

«Как не за что? — спохватывалась она, когда оставалась одна. — Разве я не любила его, не гордилась им, когда он выступал на комсомольских собраниях. Как он говорил: «Интересная жизнь... Каждый вкладывает в это словосочетание свой смысл, но не каждый понимает, что эта самая жизнь начинается не с перемены мест, не с коллектива, не со среды, в которой ты очутился, а с тебя самого. С того, что ты, именно ты можешь дать людям, которые тебя окружают». Я слушала и про себя молила: «Вот он, вот он, если бы, если бы...» Мне казалось: единственный, умный, красивый и мой — возможно ли? И потом, когда мы уже были одни, он повторял почти тем же тоном, как и на собрании: «Человек, умеющий только брать, никогда не сможет оценить того, что дают ему другие, хоть осыпь его благодеяниями с головы до ног». — «Да, да», — что я могла еще добавить. Он все так верно, правильно говорил, как прибивал гвоздями. И слова, золотые гвоздики, блестели в тех местах, где нужно. Другие были работники, но и он не отставал в бригаде, но другие не могли так тряхнуть головой, так улыбнуться, так прочитать стихи, так сказать на диспуте:

«Меня раздражают некоторые признания вроде: «Я чувствую, что могу дать людям больше, чем до сих пор, и, в общем-то, готов к этому...»

Почему — «готов»? Почему не — «делаю»? Почему мы ждем приказа со стороны, в то время как приказ этот должны отдавать мы сами? Неужели только потому, что боимся смеха тех, кого обязаны презирать? Сила людей в убежденности. Но нельзя забывать о родной ее сестре — самоотверженности. Чего стоит убежденность, если ей сопутствует страх нажить неприятности? Ждать от благородных поступков немедленных дивидендов не только глупо, но иногда и преступно. Поступки нельзя отдавать в рост или закладывать в ломбард. Это такие акции, настоящая цена которых может стать ясной в весьма неблизком будущем. Вот почему я ненавижу потребителей: они знают, что коммунизм не наступит со следующей недели, а раз так, то лучше вообще отказаться от этой идеи и брать то, что ближе лежит...»

Потом это было напечатано в газете. Она выреза-

ла и хранила, порой перечитывала и повторяла: «Чего стоит убежденность, если ей сопутствует страх нажить неприятности? Ждать от благородных поступков немедленных дивидендов не только глупо, но иногда и преступно...» Он прав.

Теперь она отшвырнула газету. Оделась, чтобы выйти, подумать на улице, уже темно, можно побродить в ближних деревьях. Но заворочалась дочка, заплакала во сне, и она разделась, осталась дома. А вдруг проснется!

Нагнулась, подняла газетный листок. «А что, собственно, случилось? Ну, ушел к другой, значит, она лучше. Лучше его понимает, и сама — лучше. Умней, красивей, покладистей, может, именно о ней он мечтал всю жизнь. «Предчувствую тебя, года проходят мимо...» Тут Любовь, единственная, а я накинулась на бедные газетные вырезки. «Человек, умеющий только брать, никогда не сможет оценить того, что дают ему другие...» И что, это же вообще сказано, и правильно. Может, я наивная дура? Он нашел женщину. Лучшую во Всех Отношениях. Получается, любовь — поиск Лучшего и Лучшей? Но только тогда зачем — это слово «любовь»? Зачем оно? Просто поиск. Плохо звучит? Почему же плохо, коли честно?»

Налила себе чаю, сказала вслух, вполголоса: «Спокойно, спокойно! Следуя этой логике — число лучших может быть велико, и ты найдешь тоже лучшего. Но как быть с дружбой? Значит, и дружба — стремление найти друга более удобного? Бред, чушь! Как я могу отказаться от своих друзей? Это предательство... И просто невозможно». А перед нею все лежал тот газетный листок, где он, ее бывший... теперь она не знала, как его назвать, писал: «...даже если вы не всегда встретите понимание, даже если кое-кто будет считать вас идиотом (а это будет наверняка), даже если временами вам будет казаться, что все люди неблагодарны по отношению к вам, вы можете быть счастливыми. Не бойтесь быть белой вороной. Я убежден — наступит время, когда эти добрые и умные птицы составят огромные стаи и черному воронью придется туго. Это время нужно приближать, приближать не маниловскими мечтаниями и вздохами, а конкретными действиями, открытой дракой с пошлостью».

«Какое фразерство, какая демагогия, и как все

выпирает... Но я же его любила, любила... И, что бы он ни говорил, я любила его и поражалась: как оригинален! Как смел! Как свободен!.. Это я свободна, я теперь свободна...» Она заплакала, заплакала без всяких мыслей, утирая слезы кухонным полотенцем, всхлипывая, жалея себя, жалея дочку, и неизвестно, сколько бы она еще проплакала, если бы ее взгляд случайно не упал на обломок герани, которую неделю назад воткнула в ящик с укропом. На узловатой, совсем будто мертвой палочке появился тоненький росток — это был еще свернутый бледно-зеленый молодой лист. Она зачарованно смотрела на него, туго скрученный, в виде кулечка, и вдруг вспомнила: завтра сочинение по «Дубровскому», открытый урок в восьмом «А», завтра... Да, надо открывать планы, тетрадки, надо готовиться к завтрашнему дню.

...Мужики в бригаде морщились: как быть, никто толком не знал.

— Ну что тут скажешь? — вздыхал Бочий.

— А ты скажи! — подзуживал Иван Машков.

— Сам говори. Тут роман писать надо. Все романы в конце концов про это. И даже писатели толком не разобрались, как надо. — Бочий отошел с решимостью больше не раскрывать рта. Кто-то протянул:

— Вообще-то она баба хорошая, деловая, жалко ее.

— Кого тебе жалко? — переспросил Машков. — Какую бабу?

— Ну, жену настоящую.

— А кто настоящая теперь? — не унимался Иван.

Бондарь запустил пальцы в бороду, глаза в землю, молчал. Анатолий покусывал губы, смотрел на Графова, потом на Машкова, на Бочкова, на Снегового. Ребята смущенно улыбались, пожимали плечами.

— Вот что! — Байков поднялся. — Говорить тут и вправду не о чем. Надо голосовать: быть ему в бригаде и в театре или не быть? Лично я — против, чтобы он оставался дальше в бригаде, следовательно, и в театре. Есть такое словосочетание «действовать по обстоятельствам». Прислушайтесь: действовать по обстоятельствам. В нравственном смысле — страшные слова... Мне кажется, он не в первый раз действует по обстоятельствам. Такое прощать нельзя.

Игорь криво усмехнулся: все-таки жаль было расставаться с бригадой, съеден не один пуд соли.

— Ты, Байков, прямой, как рельса... — оглядел

всех: ну, что же они, его друзья, не понимают — влюблен, да, влюблен. Любит! Байкову это понять не дано, но они-то, они? Это его личное, любовь, он не может сейчас без этой женщины, он привез ее сюда. Он не прятался, не лгал, не писал писем до востребования, чтобы сохранить видимость благополучия, он решил отрубить сразу. Чего же они прячут глаза? Трусы! Но ничего, еще, возможно, если не у каждого — через одного, будет такое в жизни. Тогда они вспомнят его.

Он стоял, тяжело дышал, чувствовал свою правоту, правоту любви. Жизнь ничто без любви. Вот такой, безоглядной, умопомрачительной. Любовь — первотолчок всего.

— Ну, — тихо и зло спросил он. — Так мне уходить?

От этого его вопроса сжалось сердце у Графа. «Как же так? Он же ее любит, и она, девочка из далекого южного города, чем она виновата, полюбила? Но жена, дочка — они-то как? Почему он о них совершенно не упомянул? Но он, может, сейчас ничего не понимает? Может, он просто болен, болен... Да, и в романах, да что там, у Толстого Анна все забыла... Анна...» Володя Графов внезапно улыбнулся, сравнив светскую красавицу и своего товарища, и нахмурился пуще прежнего, злясь на себя.

— Ну? — услышал он голос, в котором была надежда. — Уходить?

Бондарь наконец поднял глаза, посмотрел на Байкова. Тот сидел спокойно, смотрел прямо перед собой.

— Уходи! — хрипло произнес Бондарь.

В этот вечер все старались быть подальше друг от друга, было тяжело, искали физическую работу, кололи дрова, таскали воду, изо всех сил помогали дежурному. А Байков сидел на бревне, больно врезав в колени худые локти: «Кто дал мне полномочия на такой суд?.. И все же я прав: если предали не тебя лично, не интересы твоего коллектива, то от этого предательство не стало менее гнусным».

И наверное, тогда в книге писем Николая Островского он отметил карандашом: «Все наши достоинства и проступки в конечном счете достаются обществу, в котором мы работаем и для которого живем. Легкомысленные, себялюбивые люди воображают, что они только себе испортили, а рядом с ними в самом нача-





Агитпоезд «Молодая гвардия».
Соратники по бамовскому народному театру.



Очередная репетиция.







Встреча со школьниками.



Вот он, Витим, граница Бурятии: через мост трасса БАМа уходит на Читинский участок. «Дойти до Витима» — это был пароль бригады Бондаря в трудные и счастливые годы штурма тайги на пути к «золотому звену». Северобайкальск, Кичера, Уоян, Таксимо, Витим... 29 сентября 1984 года на разъезде Балбухта, на 877-м километре трассы, встретились путеукладчики Бондаря и Варшавского. Толи Байкова уже не было с ними в этот день, не довелось отведать ему глотка победы. Но на укладчике бондаревцев стоял большой портрет Анатолия Байкова и крупными, не везде ровными буквами было написано: «Толя! Мы пришли к этой стыковке!»







Репетиции, репетиции, репетиции...











В день свадьбы.

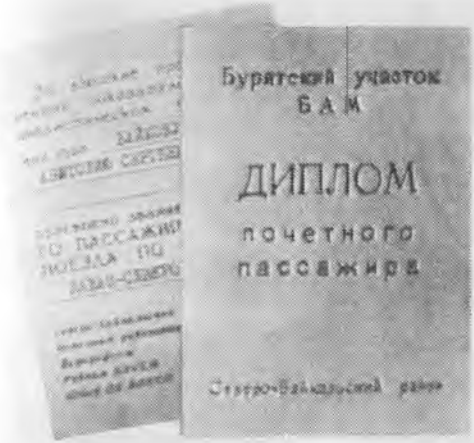
Юля.

Настя.

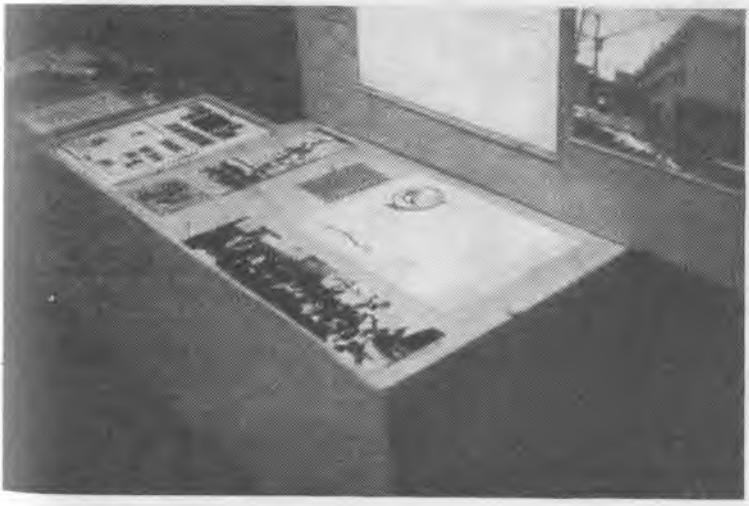
Последняя фотография.




ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА



Награды и грамоты Анатолия Байкова. Карманные памятные часы.



Стенд Анатолия Байкова в Чухломском музее.


УСИН
КИЧЕРА
УЛЬКАН
ЧАРА
ХАНИ
ОЛЕКМА
ЧИЛЬЧИ
ЛАРБА
ХОРОГОЧИ
КУВЫКТА
ТЫНДА
Мы пришли
к этой
Толя

ле испорчена жизнь их детей... Нет, в этом вопросе человек вполне определенно показывает свою внутреннюю сущность...»

Рассказывает режиссер Центральной студии документальных фильмов Владилен Трошкин:

...Однажды мне пришлось убедиться в принципиальности членов бригады. Случай был непростой. Игорь П. — один из корифеев театра «Молодая гвардия», будучи летом в Москве, позвонил мне. На следующий день мы встретились с ним на студии. Я, как и обещал, приготовил материал к просмотру. Игорь пришел не один. Вместе с ним была симпатичная тоненькая девушка. На мой недоуменный взгляд Игорь отреагировал тут же и рассказал, что во время отпуска встретил эту девушку и полюбил. На БАМе у Игоря осталась жена. Вместе играли и в театре. «Она поймет меня! Я уверен, что поступаю правильно, хотя и жестоко по отношению к ней. Если сейчас не решусь, потом буду жалеть всю жизнь!»

Приехав в Северобайкальск, я вскоре встретил Игоря. Худой, с горящими глазами, он сразу же выпалил: «Из театра меня выгнали. За аморальный поступок. Так вот...» Мне неловко было расспрашивать его о подробностях, но я подумал о тех, с кем Игорь пил и ел из одной миски, спал под одной крышей, делил лихо... Да, ребята и в жизни остались верны принципам, записанным в уставе театра: «Жить красиво стремись не только на сцене, но и в жизни».

Какова была роль Толи Байкова в бригаде? И в моральном, и в этическом плане он был совестью коллектива, его золотым зерном. Эта бригада была особенным коллективом, отличалась от других — хотя, конечно, и у них были недовольные друг другом, бригадиром, Байковым, собой. И ругались, и ссорились, как в семье, но они внутренне очень уважали друг друга — я такого больше нигде не видел. В тайге слово Бондаря — приказ, а в театре он — рядовой труппы и вместе со всеми покорно выслушивал замечания режиссера. Перед началом каждого спектакля Толя любил проводить разминку. Все актеры на сцене импровизировали, исполняя режиссерские этюды. Я наблюдал, как могучий Бондарь уморительно кудахчет, подпрыгивая на четвереньках, в этюде «Скотный двор»...

И Графов Володя, и другие ребята говорили, что именно Байков бригаду сплачивал — все в нем было искренне, все не напоказ, он исполнял простую физическую работу с таким же фанатизмом, как вечером репетировал с ребятами, он нигде не давал себе спуску. С таких позиций он относился и к своему искусству: учил актеров и зрительный зал не столько, мне кажется, играть или воспринимать действие — он учил их жить, жить именно так — напряженно, искренне, честно, лицом к ветру.

Он не располагал к себе с первого взгляда. В жизни, в нетеатральной, был замкнутым человеком, много думал, много конфликтовал с людьми, с которыми не мог не конфликтовать. Но если кто-то видел Байкова в театре — уже побежден: он раскрывался в работе, загорался, становился просто красивым. И, мне кажется, он не случайно глубоко прятал в себе это творческое горение — наверное, чтобы сконцентрироваться, отдать все на репетиции, в работе, как истинный художник. А как он теплел, этот неудобный Байков, когда рядом были дети — я помню, я снимал его с дочкой. После него в бригаде осталась пустота, вакуум. Приезжали люди с образованием, опытом, но никто не мог занять его место. Должно быть, потому, что было это место у каждого из его друзей в душе. Мне жаловались ребята, что потерян позвонок, который делал их живым и единым организмом.

А в случае с Игорем, когда принять решение было сложно, очень сложно, Байков взвалил всю ответственность на себя. Ради общего нравственного здоровья. Понимаете, он не просто верил в чистоту, любовь и добро — он их утверждал. На стыковке в Балбухте Графов, глядя на портрет друга, начал говорить о нем и заплакал: «Толя помог нам дойти... Это многого стоит».

XIV

— Привет, брат! — высокий поджарый парень тряхнул его за плечо. — Узнаешь, Анатолий?

Круглые глаза, широкая улыбка, пушистая борода:

— Ба! Юрка! Где ты?

— В Уояне.

— Ну, вспоминаешь Звездный?

— Разве забудешь? У меня, кстати, второй коренной бамовец родился, Толей назвали.

— Может, зайдешь к нам? Пообедаем? — Анатолий вспомнил, как, бывало, выручал их Юрка со своим тягачом, никогда не ударяясь в панику, никогда по глупости не рискуя.

— Как-нибудь в другой раз. Сам понимаешь, дома ждут. Я о тебе в газетах читаю, о вашей бригаде... Заходил как-то, ты на вахте был. И жены дома не было. Постоял, потоптался, следы оставил на снегу. Видел?

— Эй, Сокол! — басисто окликнули его. — Время!

Юрка Соколов. Его романтическую историю в Звездном знали многие, подшучивали при каждом удобном случае, но не без тихой зависти... Юрка родом из Братска. Все у него, как и у миллионов парней-ровесников: школа, армия, вернулся домой — стал механиком-водителем. Пришлось ему как-то заглянуть к родной тетке на службу. Работала она библиотекаршей в кулинарном училище. Шагает Юрка по пустынному коридору училища, вдыхает ученические запахи мела, думает, что во всех школах и училищах стоит этот неистребимый и тревожный дух ученичества, и стоит посмотреть на электрический звонок, на часы, на таблички «Кабинет истории», «Кабинет математики», на стенды «Наши отличники», и сразу охватывает детская робость, и ничего определенного вспомнить не можешь, а поднимается волна — и горько, и радостно, и смешно... «Э, а вот и стендики!» — присвистнул Юрка. Красными буквами было написано: «Наши выпускники на БАМе». «Ах Маша, ах Даша», — пропел он, рассматривая девчонок-кулинарш. И вдруг! Именно — и вдруг! Посмотрел фамилию, имя, еще раз посмотрел на фотографию, оглянулся, нет, никак не сорвешь, только изуродуешь. А может, фотография все врет? Таких девчонок не должно быть, это не девчонка — это фантастика... Никому ничего не сказал, взял положенный отпуск, уехал в Усть-Кут, где, судя по стенду, проживала прекрасная выпускница. Про себя он назвал ее Джульеттой. Но разве можно верить стенду?

В Усть-Куте Джульетты не было, но ему сообщили: «Ее направили в Звездный».

— Что ж, — сказал Юрка. — В этом есть определенность.

В Звездном он появился на рассвете. Спрашивал, требовал, задавал вопросы старожилам и вновь прибывшим, но ответы получал странные: где-то здесь. Наконец встретил тоненькую и рыжую девушку.

— Знаю Люду, — девушка покраснела. — Мы в одной палатке живем. Она отсыпается после двухсменки. Наш котлопункт день и ночь кормит водителей. Они гонят по зимнику колонну с техникой и продовольствием. А вы кто? — спросила она, видя, что Юрка не собирается уходить.

— Муж, — и Юрка расхохотался, потому что «рыжуля», как он окрестил девушку, беззвучно охнула.

Через три месяца для Люды-Джульетты и Юрки сыграли «Свадебный марш» Мендельсона. «Все-таки стенды — похвальная вещь», — шепнул ей Юрка на ухо, надевая на пальчик прохладное обручальное золото.

Соколовская «тээлка» проплывала мимо Анатолия, Юрка махал ему рукой, улыбался. И Анатолий пожалел, что Юрка живет в Уояне, он бы его обязательно затащил в театр. Этому парню есть что сказать, он бы смог...

Излюбленный прием живописцев — появляться в многофигурных композициях среди своих героев. Мелькнут, хотя бы в толпе, на заднем плане, не из жажды показаться, а из всесильной тяги приблизиться к жизни на холсте. Мы не исключение, тоже хочется побыть рядом со своими героями, которых успели полюбить, и чем дальше движется повествование, тем грустнее — приближается разлука... Но тогда, в июне 1976-го, из Уояна на Западный портал Северомуйского тоннеля мы ехали на «тээлке», не догадываясь, что придет время, и именно бригада Бондаря потянет через перевал вдоль этой дороги свой железный путь. И среди них будет Толя Байков, с которым читатель только что расстался в Кичере, где Байков помахал рукой водителю Юре Соколову. Тому самому Соколову, что вел наш тягач по топям и буреломам притрассовой дороги, ушедшей под воду. Раньше был зимник, но распутица и вечная мерзлота вступили в губительный союз, ледяной кашицей лег путь. Под утро, около пяти часов, у тягача выбило блок, отказал двигатель.

Вышли, пейзаж не тайги, а тундры. Темно, туман, но горы дышат в лицо, чувствуется их близость и власть.

— Дождь — визитная карточка перевала, — говорит попутчик Владимир Войтюк, комсорг тоннельного отряда номер одиннадцать. Кроме него, еще четверо парней из бригады Ивана Кокорева, Александр Лоскутников, секретарь Бурятского обкома комсомола, и двенадцатилетний мальчик. Почему все так запомнилось? Потому что было трудно, скользя по снегу и грязи, проваливаясь внезапно по колено в это месиво, идти в холоде и дожде, который порой переходил в снежную крупу. А бригада Бондаря тут р а б о т а л а; рыли они эту землю лопатами, не час и не два стояли в этой стылой воде, под этим то снегом, то дождем, и стегающий ветер превращал волосы в сосульки, а пальцы отказывались сгибаться...

— Этот тягач — одна из последних машин до Муякана. Распутица, — сказал нам на прощание Юрий Соколов, и мы ушли, а он остался ремонтировать технику. В который уж раз «тээлка» не выдерживала испытаний, а люди не могли себе позволить не выдерживать.

Через три часа нас догнал ГАЗ-66, и по ямам и ухабам, в грязи и темноте, в открытом кузове добрались до поселка Кавокта. Точнее, почти добрались. Недалеко от Кавокты заглох двигатель, и опять брели пешком. Казалось, в дороге мы бесконечно давно и никогда не видели ни большого города, ни обжитой земли, потому так и обрадовались, когда попали в палатку мехколонны, и нас накормили жареной рыбой, дали горячего чая.

Как не вспомнить, что они, наши герои — не исключаем их теперь из числа прочих, работающих в таких условиях, — были на вахте по двадцать два дня... Мы ели жареную рыбу, и нам казалось, что никогда не пробовали ничего подобного, как и не пили никогда т а к о г о чая.

А у них эти условия: дождь, снег, холод, ветер и полный световой день самой тяжкой физической работы — были нормой. Поэтому ели они совсем другой хлеб, чем те, кто покупает его, выходя из метро, в булочной на соседней улице, и спали они другим сном, чем спят, выключив телевизор, тоже уставшие люди, и уставали они другой усталостью, и ме-

ра всех вещей у них была другая. Зачем напоминаем это? Не только читателю, но и себе: так легко забывается, что такое снять мокрую одежду, прилипшую к телу, заляпанную грязью, и надеть сухую, что такое после двенадцатичасовой работы выпить крепкого сладкого чая и вытянуться на кровати. Но — подъем! Через полчаса начинается репетиция...

Какая может быть репетиция, тут, кажется, выжили, и спасибо?! Но не только репетиция, не только «выжили, и спасибо», тут жили и любили, по-настоящему любили... Про Соколова вы уже знаете. А сколько еще было таких и похожих историй...

Ливень тряс крышу палатки, ребята из мехколонны, пережидая стихию, прервали работу, подливали нам чай. «Пейте, пейте! Согревайтесь!» И рассказали о парне, у которого жена в Уояне работает библиотекарем, а он, молодой специалист, здесь, на трассе. Его дорожная команда стоит в шести километрах от Кавокты. Два раза в неделю он приходит сюда и ждет оказии в Уоян, чтобы повидаться с женой.

— Так мы же о герое просили что-нибудь, ну, где человек в исключительных обстоятельствах, — робко перебили парней.

— А разве это вам не исключительные? Ходить-то он за шесть км ходит, да оказии почти не бывает. Не та дорога. Видели?

Тут открылся полог палатки, и влез насквозь промокший худенький паренек. Он был близорук, тихо, стеснительно поздоровался, сел к «буржуйке». Ребята налили ему черного чая, пододвинули тушенку, хлеб.

— Легок, Гена, на помине, сто лет проживешь, двести на карачках будешь ползать, — пошутил самый молодой водитель самосвала. На него посмотрели неодобрительно.

Послышался рев мотора, выскочили: наш тягач.

— Эй! — крикнул Соколов Гене. — Садись, брат. Сегодня до Уояна ничего не будет.

До тоннеля всего двадцать два километра, это при такой дороге три часа пути. Думали только о сне и не мечтали, что можно сменить носки, надеть сухую обувь. Тягач как катер в штормовом море. На дороге огромные валуны, за ночь скатившиеся со склонов перевала.

— Хорошо, что опоздали, — подбадривал то ли

нас, то ли себя Соколов. Он, конечно, ас в своем деле. Пальцы из гусениц вылетают, он на ходу нагибается и забивает их молотком.

— Ой, как в сказке! — кричит мальчик, который терпеливо сносил все невзгоды. — Как в «Сказке о двенадцати удальцах», они вот так же на скаку подковывали своих коней...

Но сказки все-таки отличаются от были. А быль такова: мы налетели на камень, и траки лопнули.

— Это все, надо ждать техничку, — Соколов пнул ногой «тээлку».

И путь продолжался пешком. За шесть часов мы останавливались только дважды: разжигали костер, грелись, сушили обувь. Дождь прекратился, но потоки воды не уменьшались. А щуплый Генка сносил все неприятности даже весело. Дорогу эту он мерил ногами дважды в неделю, дважды в неделю при любой погоде. А в Кавокте транспорта до Уояна могло не быть, как, например, не было в этот день, и тогда он возвращался. Получалось: шесть плюс шесть — двенадцать. Несолоно хлебавши.

Да, и любовь здесь была другая, не будем сравнивать в чью-то пользу, просто другая, чем везде. Спросили Гену, откуда сам?

— Из Ленинграда. Жаль, что Наташа далеко, но не хочет без работы. Мне предлагали распределение в Ленгипротранс, отказался, сидеть в конторе неохота. А так тут хорошо... Вот мы на Джека Лондона и Лермонтова подписались, в Ленинграде это было бы невозможно...

Скоро Гена попрощался: его дорожный участок был в стороне. А мы отправились дальше. В час ночи пришли на Западный портал. Поселок лежал в полной темноте: движок выключают в двенадцать ночи. Нам повезло, нас отвезли на бензовозе на горячий ключ, в баню геологической партии.

Утро было таким прозрачным и солнечным, что с трудом верилось — это те же скалы, та же тайга. Комната, которую нам отвели для ночлега, оказалась через стенку с библиотекой. Между прочим, в библиотеке были довольно свежие газеты, их через день забрасывали орсовским вертолетом вместе с продуктами.

Газета пахла типографской краской и шуршала в руках, совсем как дома и совсем по-иному. И иными

глазами ее читали. Все события, от сева в Архангельской области до сенокоса в Азовских степях, виделись как бы через увеличительное стекло. Может быть, только отсюда и видишь, какой ценой все достается твоему народу... Ввоз семей из-за тяжелых бытовых условий был не разрешен. Стояла тишина. Мы отправились в котлопункт, где работали две пожилые поварихи из местных. Они хорошо знают Старый Уоян, а про эти места прежде ничего, кроме суеверных историй, не слыхали. Истории, впрочем, интересные, но они совсем для другого рассказа. А эти дни всплыли в нашей памяти не случайно. Для того чтобы показать размеры, например, самосвала, фотограф рядом на техническом снимке кладет спичечный коробок. Вот и нам показалось необходимым положить «свой коробок», чтобы те, кому не приходилось жить далеко от дома в суровых краях, жить, прокладывая магистраль или буря скважину в вечной мерзлоте, попытались, хотя бы относительно, понять существование другой меры всех вещей.

XV

— Здравствуйте, Анатолий Сергеевич! — крикнул Санек, он стоял на деревянном коробе, в которые на БАМе прятали все коммуникации, потому что под ногами была вечная мерзлота и ее норов во многом оставался еще загадкой для людей. Санек размахивал палкой от поломанной клюшки и не давал своим противникам подняться по лесенке на короб.

— Вперед, мушкетеры! Вперед! — орал Мишка, появляясь из засады. Палки гремели, шапки летели на снег. Анатолий слепил снежок и запустил его в самого ретивого вояку, уже рослого паренька лет пятнадцати. Снежок приняли, справа за короб встала одна команда, слева другая — и началась баталия. Анатолий спешил сделать снежок, спешил прицелиться, и как хотелось ему сбить с кого-нибудь шапку. Но вот белый комочек стукнул его в лоб, и его шапка съехала на затылок.

— Убили, убили! — кричали мальчишки. Что ж, не поспоришь, он вышел из игры. У лиственницы снял полушубок, стряхнул. Надел и зашагал домой, едва

не подпрыгивая. Настроение его странным образом изменилось. Он чувствовал, как слушаются его мускулы, как легко идется, как легко дышится — и ему виделась впереди длинная-длинная жизнь, и много-много работы.

Обычно, задумав спектакль, он им «заболевал». Сначала был период как бы томительного сомнения, он во всем разуверялся, ходил раздраженный, на вахте работал ожесточенно. Потом наступал инкубационный, скрытый ход болезни, когда он уже знал, что именно его томит, видел неясные тени, слышал неясные речи, но не торопил события, давал им возможность развиваться своим ходом: знал — настанет час. В такой час он обычно говорил в бригаде: «Я думаю, мы должны поставить...» — и называл спектакль. Он произносил каждое слово твердо, уверенно, и эта уверенность отзывалась в каждом. Сначала думали: очень интересно, но сможем ли? Это серьезный спектакль. По силам ли нам?

Но он кивал: сделаем! И тут ребят охватывал душевный подъем и желание — все сделать как можно лучше, как никто никогда до них не делал.

Так все случилось и теперь: «Я думаю, мы должны поставить «Утиную охоту» Вампилова». Наступила тишина. Все понимали, назвал он эту вещь не случайно. Для их коллектива имя Вампилова возникло еще в 1977 году, когда они ездили на гастроли в Братск и встречались с вдовой драматурга. Тогда Байков с ней долго беседовал. Потом несколько раз перечитывал пьесы Вампилова.

И когда Анатолий заговорил о нравственных установках, о том, как порой люди из страха посмотреть правде в лицо даже наедине с собой боятся называть вещи своими именами, страшатся сделать выбор, избегают открытой борьбы, Графов вдруг вспомнил о Вампилове. А тут Байков и сказал: «Я думаю, мы должны поставить «Утиную охоту».

Когда начали читать пьесу и пошла авторская ремарка: «Зилову около тридцати лет, он довольно высок, крепкого сложения; в его походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности...» — взгляды остановились на Байкове. «В то же время, — продолжал драматург, — и в походке, и в жестах, и в разговоре у него сквозят некие небрежность и ску-

ка, происхождение которых невозможно определить с первого взгляда...» Это уже конфликт: Зилов против Зилова. И Анатолий сыграл именно это мучительное противоречие, это «против», когда на вопрос: «Что ты любишь?», Зилов не может ответить. И гости кричат: «Ты не знаешь, а мы знаем. Знаем, что ты любишь...» Казалось, это уже не вампиловский Зилов, хотя слова из пьесы: «Ну вот мы с тобой друзья. Друзья и друзья, а я, допустим, беру и продаю тебя за копейку. Потом мы встречаемся, и я тебе говорю: «Старик, говорю, у меня завелась копейка, пойдем со мной, я тебя люблю и хочу с тобой выпить». И ты идешь со мной, выпиваешь. Потом мы с тобой обнимаемся, целуемся, хотя ты прекрасно знаешь, откуда у меня эта копейка». Анатолий играл притчу. Его герой не принадлежал отдельному и определенному времени 80-х годов, он вобрал в себя и душевную пустыню «стерильного юноши» и «гольную рацуху»: «или жить, или размышлять о жизни — одно из двух. Тут сразу надо выбирать. На то и на другое времени не хватит...», он играл ту извращенную человеческую сущность, из которой произрастает предательство. А уж при каких обстоятельствах проклюнутся змеиные яйца, вы, сидящие в зале, догадайтесь сами; пусть не сейчас, не сегодня, но подумайте об этом на досуге. А первооснова, вот она... вот ее обманчивая безвредность и даже взывающий к сочувствию облик потерянного и буйствующего миляги.

Никто из видевших этот спектакль не ушел домой равнодушным.

— Ну, Байков, каков Байков, — говорили с разными оттенками удивления и восхищения. — Он талантливейший актер. И что, все вкалывает на трассе?! Расточительно!!!

Их сближала с Зиловым эта мощь расточительства, только Зилов не знал, зачем ему столько дано, а Байков знал.

Рассказывая об этом спектакле, журналисты приводили слова Бондаря: «Это был единственный, по-моему, спектакль, где он сам сыграл, причем главную роль. Обычно Байков не играл в спектаклях. Я сейчас вспоминаю его в роли Зилова... Думаю, если бы не он — в данном случае как актер, то нам вообще не имело смысла браться за эту пьесу. По-моему, для него это была мучительная, тяжелая работа. Он

очень достоверно играл трагедию Зилова, хотя трудно представить более несхожие в нравственном плане натуры. Но Байков играл именно трагедию человека, которую он видел в утрате точных нравственных ориентиров. И это ломает не только всю жизнь Зилова, но и всю его человеческую сущность».

Бондаревцы вступали в пору зрелости, один за другим праздновали свое тридцатилетие. Байков провозгласил принцип — вся семья должна быть в театре. Сегодня ты осветитель — завтра играешь главную роль, и наоборот. Менялся Анатолий Байков. Не в том дело, что к клетчатому пиджаку прибавился кожаный. Это вряд ли он отметил для себя. Яркие, контрастные краски его юношеского максимализма становились глубже, мягче: тридцать лет — это уже рубеж. Маковка лета, самый раскаленный зенит. Как светло и пронзительно рождаются мысли, радостно смеется, если смеется, и в любое время суток можно работать и работать, и нет конца силам! Можно валить лес, забивать в насыпь костыли, репетировать и давать спектакли по ночам! А зачем же пропадать целым восьми часам, неужели их тратить на сон?

— Ты совсем не спишь? — с испугом говорила Люда, просыпаясь на рассвете и видя его склоненную над столом спину. — Толя, так нельзя.

Он прикладывал палец к губам: тише, не разбуди девчонок, и улыбался:

— Шукшин сказал: «Угнетай себя до гения» — это значит, работай!

XVI

Лежал плотный туман. Он уже сутки не мог улететь из Улан-Удэ. А в Ленинграде нужно быть через шесть часов с учетом разницы во времени. В этот раз он думал еще заскочить в Москву, наконец что-то выяснить насчет пьесы к стыковке. Пока все, что он перечитал здесь, ему не нравилось, да и он сам пока не нащупал, что и как. Это была та самая мучительная стадия, когда его разрывали сомнения, казалось, он бессилен, а ребятам нужен сейчас особый толчок. На трассе много самой тяжелой работы, а тут такие дела...

Иван Машков — «золотой запас» бригады и театра — заявил: «Мне нужно оставаться в Кичере». Сначала не поверили своим ушам: как оставаться? А вахты? А бригада? Что он говорит? Что он хочет этим «оставаться» сказать? Иван хмуро и непроницаемо молчал.

— Нет, — Бондарь склонил голову. — Не будем кипятиться. Ваня, что? Ты толком.

— По семейным обстоятельствам, вы же знаете, — нехотя процедил Иван и вздохнул.

Байков ничего не сказал, хотя и ждали его слова. И то, что он не говорил, мучило Ивана. Именно для него Иван заготовил ответ и много раз повторял про себя: «Вы жили в детдоме? Вы смотрели на каждую женщину с тайной надеждой: «Если бы это была моя мама!»? А когда читали книги, где у детей есть дом, есть родители и они вечером все вместе сидят за столом и ужинают, вы колотили эту книгу кулаком, а вас отводили в угол и наказывали? Вы врали в лагере, что у вас самый сильный отец и он возьмет вас с собой в отпуск ловить рыбу? Он купит вам катушку, набор крючков и складывающееся удилище. Вы каждое лето ловите с ним рыбу... К черту! К черту все объяснения, я хочу быть рядом со своими детьми. Мы уезжаем надолго, на месяц, мы работаем далеко, а они растут одни. Они растут без меня, я так не могу. Хотите вы это понять или не хотите, а может, и не можете, но я не могу без них».

Анатолий видел: ходят желваки по щекам Ивана, как камни парень жует. И молчал. Если бы это был не Машков, а другой, кому нужно было объяснять, что такое их бригада, их братство; а впрочем, раз нужно объяснять, то объяснять не нужно.

— Думай! Как решишь, так и будет, — наконец тихо, глядя в сторону, сказал Анатолий. — Лично я тебя осуждаю.

— Толя? — Бондарь встал, положил Машкову руку на плечо. — Толя, ребята, ну, как же так? Иван?

Домой Машков пришел чернее тучи. Ел молча, потом встал, лег на диван, закрыл лицо газетой. Ему хотелось кому-то все объяснить, и может, больше всех он сейчас зол был на Байкова. «Толя, разве мы не жили в Звездном в одной общаге? Разве не считались друзьями? Ты понимал меня, и я поддерживал тебя во всем. Я видел, театр для тебя не просто пред-

ставление, это для тебя рабочий инструмент, как лопата, которой ты хочешь перекопать наши души. Сделать их живыми, открытыми всем и вся. И я откликнулся на все твои начинания. Мы с Бочием попали в аварию, но только оправились, не пропустили ни одной репетиции... Я женился. Ты обозлился и на камин, и на то, что я стал опаздывать в театр, а один раз не пришел. Камин — для меня не просто огонь, на котором можно поджарить шашлык и у которого надо петь песни. То, что журналисты его фотографируют и суют в газеты, не моя вина... Для меня камин — мечта о доме, об уюте, о крыше, под которой растут дети. Я хочу большую семью, много детей, я хочу дать им то, о чем так много передумал в спальне на двадцать пять человек. Байков! Толя! Я не красная девица, я никогда не плакал, но у меня все переворачивается, когда я вижу глаза своего сына, а я уезжаю. ...Конечно, ты скажешь: другие как? Не знаю, не знаю, как другие — но я не могу...»

Байков понимал Машкова, нет, не оправдывал, но понимал. И когда Машков ушел и Бондарь сказал: «Толя, что же это?» — «Он вернется. — Байков посмотрел на Бондаря. — Саша, оставь его, он вернется даже раньше, чем сам думает».

И сейчас Анатолий подумал: «Вернется! Начнем делать спектакль. Не вытерпит». Он ходил по первому этажу аэровокзала, вышел на улицу. Было темно, гудел ветер, но он различил и нервные голоса, бравый хохот, просьбу: «Оставьте в покое. Не надо». Оглянулся. Возле второго входа в аэропорт темнела какая-то группа. Побежал туда, увидел: двое парней держат человека, а еще двое с гиканьем перекидывают портфель через козырек над входом. Портфель давно расстегнулся, бумаги белели на мокром асфальте.

Байков поймал летящий портфель.

— Э, паря... — юнец лет семнадцати кривил рот.

Байков прикинул — компания сыгранная, юнец тянет секунды, поджидает дружка, а там все расписано: дружок подходит сзади, дает подножку, и он затылком летит на мостовую, а они наваливаются на него. Анатолий резко обернулся, и противник сообразил: сидит на земле, и его сбили неплохим ударом. Юнец, наверное, смекнул — придется туго, метнул взгляд на двоих, стоявших в стороне. Те оставили свою жертву и кинулись на Байкова. Анатолий увер-

нулся от тренированного кулака юнца, тот по инерции завалился на него, тут-то Байков и прижал его. «Все! — глухо и властно сказал он. — Слы-ши-те, все!»

Когда владелец портфеля появился на месте происшествия с дружинниками, парней не было, разбежались: то ли поняли, что победа легкой не будет, то ли испытали еще какие, не свойственные им чувства...

— А вы действовали решительно, и... — человек, подбиравший с асфальта бумаги, смущенно добавил: — и даже красиво. Прямо как в кино.

— Да уж... — Байков улыбнулся. А про себя подумал: Сережка, вечно выспрашивающий его о драках, был бы доволен. Давно с ним такого не приключалось, было как-то и неловко и стыдно...

Так, собственно, они и познакомились. Оказались почти ровесниками. Человека с портфелем звали Мирославом Витальевичем. Он читал в университете лекции по философии, интересовался проблемами молодежного сознания, в частности, рок-движением. Находил: это форма самопроявления личности — плач в лесу, который многие не слышат за ежедневной суетой. А плачут в лесу «стерильные юноши», дети ядерного века, пресыщенные материальными благами, информацией, огражденные от беды, неспособные на поступок.

— Но на проступок, как видите, они пошли. — Байкову новый знакомый был интересен. Он отметил несколько расслабленные движения, бледность горожанина и цепкий, светлый взгляд человека, умеющего думать в одиночестве.

— Да, — Мирослав Витальевич покачал головой. — Я их сам, между прочим, нашел. Смотрю, как раз нужный мне возраст. Стоят. Прислушался, говорят: «Вертушки, подвески, светомузыка из одной точки — дерьмово, а эту знаешь?» И напели «тч-тч-ш-ш-ш»... Я не знал, что они выпили, подошел, стал задавать вопросы. Знаете, я тут уже сутки, вспомнил кое-какие положения, хотел проверить... — Взглянул на Байкова, не смеется ли тот над ним, понимает ли? Тот не смеялся.

— А с физкультурой у меня со школы... Раньше все думал, надо походить, подучиться... — Мирослав Витальевич почесал бровь. — Так что, если бы не вы... Да... В каком аспекте я занимаюсь рок-движе-

нием? Это одна из форм самодеятельности, она по-своему объединяет молодежь, понуждает ее к поиску самоутверждения. Прислушайтесь к растерянности «человечка из ваты...». Что делать ему? За него уже решена жизнь, он не знает, где и как себя проявить.

— И какой выход вы видите?

Мирослав Витальевич посмотрел одновременно на Байкова и мимо, куда-то в сторону:

— Вас интересует внешняя причастность? Я изучаю этот вопрос социологическим методом, мне он небезынтересен. Я наблюдаю... — он прищелкнул пальцами. — Меня занимает тенденция.

Они пили покалывающий язык ткемалевый сок из пластмассовых аэрофлотовских чашечек. В искусственном свете все было белым и пронзительно ярким. Но Байков не ощущал усталости, он внимательно слушал своего случайного попутчика, задавал ему вопросы, на которые сам сегодня не мог ответить. Но в нем нарастало пока неясное ликование, он чувствовал острейшее желание теперь, теперь же работать над пьесой о БАМе. Над пьесой, вместившей все многообразие, все духовные коллизии современности. «Правда, где эта пьеса?» — спрашивал он себя, чтобы охладить невесть откуда взявшийся пыл. А пыл его был подстегнут этой ночной беседой.

— Рок-певец становится пророком, а кто еще? Кто еще дерзнет взять на себя эту роль, и так, чтобы его услышали, ему поверили... То, что вы рассказываете о своем театре в бригаде, о своих литературных вечерах — чудесно, но не кажется ли вам, что это форма современного интеллектуального монастыря? А вот рок-певец имеет громадную аудиторию.

— Ну что до современного интеллектуального монастыря, это не так. А вот вы могли бы приехать к нам?

— Я? — Мирослав Витальевич посмотрел на этого человека, в котором чувствовал вожаковскую притягательность. — Но зачем вам я?

— Я хотел бы вернуться к «Как закалялась сталь»... Сил на эту вещь еще не набрал, но я к ней иду. Надо сделать ее по-другому, чем я пытался, надо вобрать в нее внутренний диспут. У меня есть мечта поставить спектакль к стыковке, но опять-таки нет пока материала. Или так: материал есть, но нет человека, который работал бы с ним. Вместе со мной.

— О! — печально удивился Мирослав Витальевич. — Мне тридцать второй год. Я уже иссякший, уставший человек, отец двоих детей, все вокруг меня неподвижно, и сам я уже неподвижен. Я утратил всякую способность к внешним переменам. Для ваших идей мне надо родиться снова.

Публика в аэропорту всколыхнулась, началось движение, и спустя мгновение два разных репродуктора, накладывая звук, сообщили, что начинается посадка на иркутский рейс.

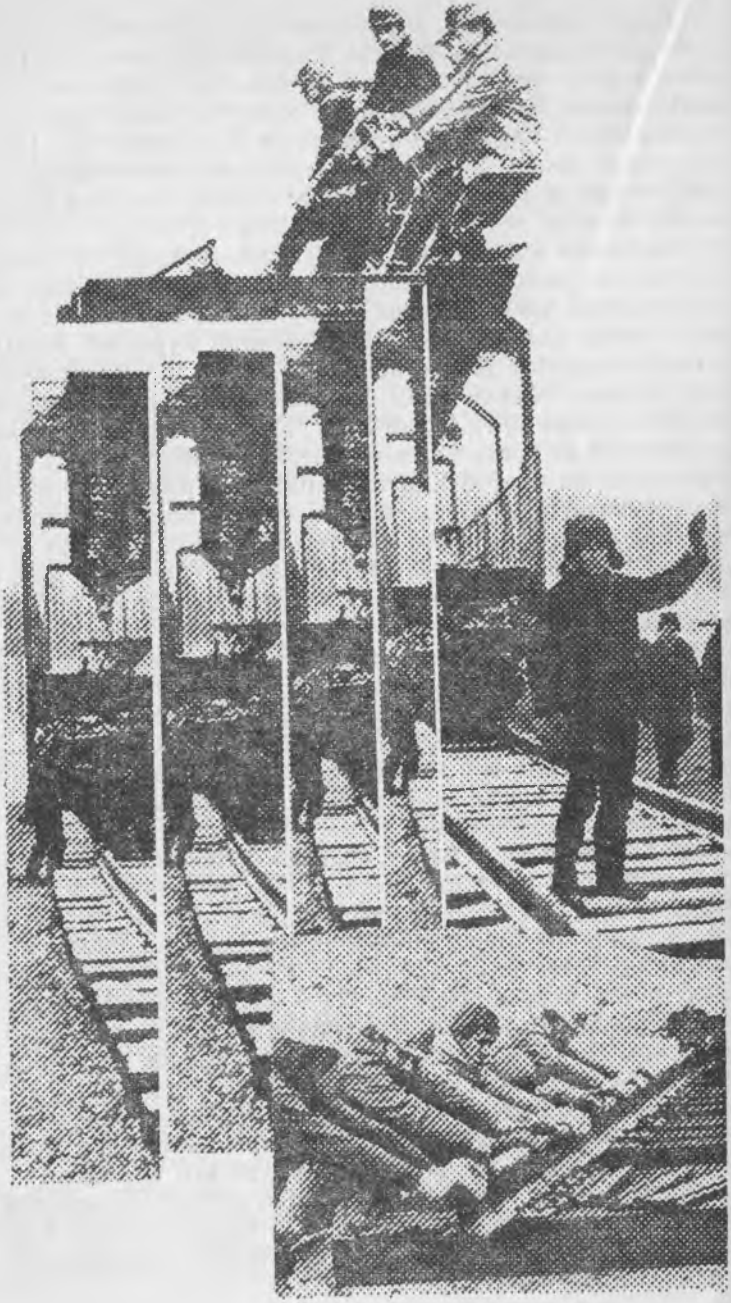
Они обменялись адресами. Мирослав Витальевич пошел в свой «накопитель» со странным чувством, что в его записной книжке появилась крохотная дверца и над ней, как в кинозале, когда идет сеанс, горит табличка «выход». Нет, конечно, смысла вскакивать и бежать к выходу, пусть даже и фильм так себе, пусть даже ты и знаешь, чем он кончится. А потом, как пробираться по ногам соседей? Они будут шикать и возмущаться, хотя задерживать никто не станет. Ведь и они сидят и смотрят, не дергаются, хотя тоже предвидят, чем этот фильм кончится. Так что существуют некие правила игры... да, правила игры... И нет смысла Мирославу Витальевичу вдруг спохватываться, что-то там иначить, но все-таки есть у него теперь эта дверца, этот адрес... Мирослав Витальевич оглянулся. В громадных стеклах аэровокзала ничего нельзя было увидеть, там отражался рассвет, розовый и холодный.

Пассажиры с его рейса ждали автобус у края летного поля. Прямо в лицо дул сырой свободный ветер, все сразу замерзли, начали поднимать воротники, сбиваться в толпу. И Мирослав Витальевич воспринял этот холод как холод внезапного одиночества и понял: всю бессонную ночь не просто проговорил с незнакомым человеком, а был как бы согрет между гигантскими теплыми ладонями, согрет вниманием не к своим словам как таковым, а участием к нему самому — Мирославу Витальевичу... Это было забытым ощущением, и шло оно из области сердца, той области, что принадлежала его «биологическому мешку» и была давным-давно заколочена, не востребована и нужна постольку, поскольку без нее не могла жить его дорогая и лобастая голова наблюдателя. И он стал этой головой-кельей, целое десятилетие провел у глаз-окон, никуда не выбираясь за пределы беспре-

дельности своего «я». Байков всколыхнул Нечто. В нем была заразительная жажда настоящей жизни, и эта жажда, как чужой аппетит, отозвалась в Мирославе Витальевиче. И пронеслись в нем смутные тревоги, пропитанные запахами трав, свежих, только что распиленных досок, и была там какая-то полуулыбка, и губы ее были измазаны темной ягодой, которая неизвестно откуда истекала соком в его горсти...

Мирослав Витальевич втиснулся в автобус, ожидая спасительного растворения в ощипанной от пера и пуха мысли, но его мысль материально торчала из пакета соседа замороженной бройлерной курицей. А был ли этот парень с БАМа на самом деле? И что сотворилось с ним, Мирославом Витальевичем, этой людной ночью в аэропорту Улан-Удэ? Еще можно выйти из автобуса и не сесть на свой самолет, можно уехать куда-нибудь на восток или на запад от Иркутска, чтобы почувствовать наконец, какой вкус у воды, как пахнут яблоки и что такое любовь женщины... Пусть отдохнет голова-келья... И Мирославу Витальевичу вдруг захотелось заорать, затопать ногами, сотворить противообщественный шум, чтобы обратить на себя возмущенное внимание; и от ужаса таких желаний в себе он болезненно поморщился. Сосед с бройлерной курицей спросил: «Вам не нужно?» — и протянул патронтик с валидолом. Он машинально взял его, машинально поблагодарил и с тупой ясностью отметил, что они наконец подъехали к самолету. Он сейчас полетит, за дорогу выспится, все у него нормально, и он, показывая стюардессе билет, вызвал в памяти защищенную тишину своего кабинета. Таких кабинетов у него было два: один дома, другой на службе. И он перекладывался из одной коробочки в другую, давно научившись быть везде и нигде. «Товарищ, это не ваш рейс. Куда только смотрите?» — Мирослав Витальевич вздрогнул, ожидая, что сейчас по его жизни пройдет слом, и он уже не властен над собой, это катаклизм, судьба, но стюардесса вернула билет не ему, а соседу с бройлерной курицей. И тот стал спускаться с трапа, двигаясь неуклюже против общего хода толпы, и все на него ворчали, ругали его, толкали.

А Мирослав Витальевич благополучно поднимался вверх, вместе со всеми, в салон, в правильном и размеренном потоке, руководимый общими инструкциями посадки в самолет.



Часть III





XVII

Если кому случится побывать в Северобайкальске, не пройдите мимо добротного, обшитого вагонкой здания на перекрестке дорог. Все-таки странная вещь — музей в молодом городе. Он напоминает архив молодой семьи: яркие фотографии, с которых смотрят смеющиеся юные лица, аккуратные слайды, запечатлевшие розовых младенцев и родителей, недавних учеников средней школы. И главное, вся семья — ровесница своего архива: малыш не вырос из ползунков, родители донашивают спортивные костюмы, оставшиеся после уроков физ-

культуры. Так и в этом музее — некоторые снимки, карты, эскизы можно увидеть в действующих прорабках, по ним, возможно, еще работают, но они уже история. А вот экспозиция, посвященная бригаде Саши Бондаря: его ребята в Кичере на укладке пути. Каска Бондаря, знакомая афиша спектакля «Молодая гвардия».

Да, история БАМа, которую собирает и хранит музей, сегодня еще не воспринимается как история, но хорошо, что с самого начала к ней отнеслись по-хозяйски. Ни один день стройки не повторится. И пусть пока запасники музея похожи на квартиру новоселов: в мешках, папках — документы уже расформированных строительных организаций, фотографии, рисунки, стихи — некоторые просто на листочках из блокнота, шариковой ручкой, отразившей неровности дощатого стола:

Осенью, зимой, весною, летом,
Празднуя, работая, любя,
Позарез нам хочется при этом
На характер выверить себя...

А кого благодарить за стенды у самого входа, открывающие экспозицию музея? Они посвящены первопроходцам БАМа, изыскателям довоенных лет. А вот еще более давняя история. На старой фотографии — пятеро: красивый бравый матрос, девушка с длинной косой, парень в белой гимнастерке, перетянутой портупеей, человек в военном френче и чеховских очках. Внизу, по закону старых групповых снимков, полулежит чернобровый боец в фуражке со звездой, за поясом — маузер. Макаров, Мальгин, Шарыпов...

Задумывая пьесу о БАМе, и особенно после первых неудачных сценариев, сделанных людьми, далекими от стройки, Анатолий все чаще обращался к материалам местным. Он видел сегодняшний день этой земли продолжением легендарного и мятежного прошлого сибирского края, где в непроходимой, казалось бы, тайге наталкиваешься на деревянную пирамидку со звездой — память смертных боев с колчаковскими бандами — или серый, поросший мхом камень с именами, вырубленными с буквой «ять».

Веками притягивала к себе Сибирь русских людей, и многие остались лежать в ее заросших по весне жарками таежных марях.

В один из медных сентябрьских дней набрел Анатолий на одинокий обелиск. С утра жгли заморозки, теперь отогрело, и спелая брусника влажно горела в полеглой желтой траве, укрывшей небольшой холмик. Анатолий нагнулся, выдернул веточку, оборвал губами ягоды, не отрывая глаз от покосившегося памятника. Выбитые на пластинке фамилии напомнили ему музейную фотографию — бравый матрос с дерзким взглядом темных глаз, русоволосая девушка с толстой косой, парень в белой гимнастерке... Он увидел и полулежащего чернобрового бойца, тусклый блеск его маузера, заткнутого за пояс. Стоп! Так можно начать спектакль, артисты замерли, как на этой фотографии, а за сценой тихая, со скрежетом патефонной иглы запись: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...»

Анатолий обошел памятник, как бы ища что-то вещественное и неповторимое, что могло остаться от той давней схватки. Было тихо. Звенел, прогреваясь, прозрачный осенний воздух, а Байков различал голоса, ржанье лошадей — спешивался в Баргузине эскадрон. Нервно перетаптываясь и позванивая сбруей, стояли лошади, их не разнуздывали, животные дышали горячо, вздрагивали, им передавалось напряжение людей. Бойцы расстегнули вороты полушубков, но не расходились, стояли тут же, у коновязи. Слышались отрывочные команды, кто-то резко хохотнул, и опять наступала тревожная тишина. Шарыпов выслал разведку вперед, и теперь эскадрон ждал знака. В округе злобствовала черная банда полковника Дуганова...

Что будет с красным эскадроном? Скоро, очень скоро отлетят и брызнут стеклом чеховские очки человека в военном френче, отдадут друзья ружейным салютом последнюю дань красивому бравому матросу. Не вернутся из разведки Мальгин, Хорошенко, Лазовский. Их найдут изрубленными на дороге неподалеку от Ирканы на самом берегу Байкала. Несколько недель, выматывая лошадей, эскадрон будет преследовать банду Дуганова. В Тыю, Нижнеангарск, Горемычную чекисты опоздают: двадцать четыре коммуниста и девять беспартийных активистов зверски замучают колчаковцы. Но в конце января банда Дуганова будет разгромлена...

Анатолий едва дождался вечера, чтобы упорядочить нахлынувшие мысли. В который раз он приходил

к выводу: Сибирь — заповедный край, не нуждается в придуманных и браво закрученных историях. Сколько материала и какой материал вокруг!..

Когда выпадало время поработать над этим материалом, Анатолий делал в блокноте записи об истории земли, по которой прошли рельсы БАМа. Уже далеко за полночь, но он поднимался, ставил кипяток для заварки и, дожидаясь, пока он поспеет, вышагивал по маленькой кухоньке.

...Возвращался в Нижнеангарск потрепанный боями эскадрон Шарыпова. Утро, медленно въезжали всадники на молчаливую, занесенную снегом улицу. Скрипнула дверь избы, вышла с ведрами женщина. Испуганно глянула на солдат, потом охнула и, узнавая своего соседа Шарыпова, крикнула:

— С прибылью тебя! Носишься со своей шашкой и не знаешь, сынок родился.

Родился Костя Шарыпов в Нижнеангарске, это старое село на берегу Байкала, всего в нескольких километрах от Северобайкальска. Праздновали его рождение бойцы, опять ставшие односельчанами, праздновали, приговаривали: «Пусть наша ребятня живет в мире! Бандюг мы порубали, будут наши хлопцы ловить омулей в Байкале, смолить лодки, ставить дома... А мы состаримся, с внуками будет нянчиться, давать им, как цацки, гильзы, чтобы не забывали, как дрались деды за этот край...» Но все шло своим чередом, и был черед этот грозен. Призвали Костю Шарыпова служить на Тихоокеанский флот.

Анатолий прищелкнул пальцами: так, опять появляется фотогруппа — пятеро: матрос, девушка, человек в военном френче... Они быстро уходят, но свет задерживается на одном — полулежит чернобровый боец в фуражке со звездой. Шарыпов-старший. Обрывок мелодии «По долинам и по взгорьям...», и на сцене стоит уже Костя Шарыпов на Приморском бульваре во Владивостоке. Бескозырка, смеющееся молодое лицо, тельник. Щелчок затвора фотоаппарата, мгновение до войны — год 1941-й.

Голос диктора. Он рассказывает о тяжелой обстановке на Волге, о том, что тихоокеанцы отправили в Сталинград четверть личного состава. И в городе на Волге, на стене элеватора, где проходили самые ожесточенные бои, солдат в бескозырке (левая рука на перевязи) пишет углем: «Особое упорство и героизм про-

явили моряки 92-й отдельной стрелковой бригады». Это о Шарыпове и его товарищах. Костя Шарыпов, матрос Краснознаменной бригады морской пехоты, сражается на сталинградской земле. Да, некому покуда смолить лодки, жирует байкальский омуль, воюют парни из Нижнеангарска на берегу Волги. После одной из разведок боем Шарыпов среди живых не значился, так его имя попало в список павших на Мамаевом кургане.

Без признаков жизни вывезли его с поля боя в ледяную черную ночь поздней осени сорок второго года. Вот где хороши воспоминания Кости Шарыпова, но сначала тихо-тихо пойдет песня: «...то вспомнят запахи карболки госпитальной, то деревень своих дрожащие огни...» Или что-нибудь в этом роде, надо подумать. И сразу параллельно с песней — школьный класс, «жирник» на окне:

«Кончался последний день ноября 1942 года. Заходящее солнце малиновыми бликами поиграло на оконных узорах и стихло. Мир замкнулся в одной комнате, которая когда-то называлась аудиторией, а теперь стала госпитальной палатой. Те, кто слушал лекции, ушли на фронт, а вместо них на носилках принесли нас и дали общее имя «ранбольной». Мы долго лежали с соседом по койке в наступивших сумерках и молчали. На подоконнике замигал «жирник», сделанный из консервной банки. В тот день я получил письмо из дома от Анны Орловой. Горькое оно было, это письмо. Погибли многие наши одноклассники. Москвичи и ленинградцы из Бампроекта, с которыми мы до войны ставили спектакли в районном Доме культуры, ушли на фронт.

— Почитай мне свое письмо, все же легче будет, — сказал сосед. Я уже знал, что ему не будут писать, фашисты сожгли его деревню, сгубили семью.

— Да ничего в нем особенного нет. Только горе.

— Все равно прочти. — В глазах паренька я увидел слезы...»

Анатолий приоткрыл форточку, горьковатая осенняя прохлада пошевелила листы на столе. Он еще раз перечитал воспоминания Шарыпова и подумал, что со временем документы обретают поразительную художественную силу. Как звучно, емко каждое слово, и

пусть звучит в спектакле без дополнительной правки. Да, все это ценно само по себе, каждое слово живого свидетеля. Факты, отцеженные от человеческих судеб, лишены живой души. Наша жизнь — неразрывный узел судеб, а все вместе — судьба Отчизны.

...Итак, ночь, чадит красноватый огонек «жирника», а Костя Шарыпов читает письмо из Нижнеангарска. Но постепенно голос его становится глуше, замирает и возникает четкий, суровый, суховато и раздельно произносящий слова голос диктора: к середине января 1942 года многих бамовцев — и изыскателей, и строителей — вызвали в Москву к Гвоздевскому, возглавившему новое строительное управление. Осложнилось положение под Сталинградом, и было принято решение о строительстве Волжской железнодорожной рокады — временной железной дороги во фронтовой зоне.

Отрезанный от южных и западных районов страны, Сталинград должен был снабжаться только по этой строящейся дороге и через Волгу, что было куда опасней — над рекой днем и ночью кружили фашистские бомбардировщики.

Днепропетровский завод уже эвакуирован, уральские заводы выплавляли металл для боевой техники, и для рокадной железной дороги Сталинград — Камышин — Саратов используют рельсы с уже построенных участков БАМа. Под яростной бомбежкой, в лютый мороз, без специальной техники, без отдыха строили бамовцы эту трассу. Строительство было не просто скоростным, а сверхскоростным — по законам военного времени. Началось оно в феврале 1942-го, отсыпали земляное полотно в мае, а 7 августа замкнулись рельсы на южном участке — от Камышина до Сталинграда.

Образовавшееся кольцо Поворино — Иловля — Петров Вал — Балашов дало возможность вывести огромное количество поездов в глубь страны. Уже за первые двадцать дней было отправлено 26 тысяч вагонов ценного оборудования, 300 паровозов. Фашисты непрерывно бомбили бамовскую магистраль на Волге, после каждой бомбежки полотно и насыпь восстанавливались, а поезда шли и шли. Рокада открыла зеленый свет воинским эшелонам, эвакуировались заводы из прифронтовой полосы.

Так первая очередь БАМа разделила судьбу воен-

ного времени, и если порыться в шкатулках бывших строителей, изыскателей, проектировщиков, то найдешь среди наград и дорогую медаль «За оборону Сталинграда».

Ночью мысль вспыхивала ярко, ему казалось — ура, находка! Даже думалось: «Хорошо, очень хорошо, именно так и надо делать пьесу о БАМе». Но днем все не нравилось: «Уже было, было. Надо обрабатывать факты. Документализм — отлично, но без художественного насыщения многое покажется упрощенным. Нужен синтез образов, собирательный характер... И куда мне соваться в драматурги».

Но проходило время, и Анатолий возвращался к мысли о своей пьесе. Выписывал в блокнот из воспоминаний Александра Побожего, старейшего изыскателя БАМа.

«В 1971 году наша экспедиция вышла на старое железнодорожное полотно. Вот уже 30 лет не ходят по нему поезда. Насыпи, выемки и откосы заросли густым лесом. Лиственницы, березы, сосны, кусты росли вперегонки, лес, захватив всю полоску земли, расчищенную и взрыхленную когда-то, был здесь гуще и выше, чем на участках вечной мерзлоты по сторонам... Где-то внизу, под слоем палых листьев, хвои и мха, лежали шпалы; кое-где из земли торчали костыли.

Да, ушли в прошлое далекие годы. Заросшее лесом железнодорожное полотно и железобетонные мосты остались свидетелями труда первопроходцев. Изыскатели и строители ушли отсюда в 1942 году на запад защищать Родину от врага и увезли с собой уже с действующей железной дороги протяжением почти 200 километров весь металл... Давно кончилась война, а военные раны до сих пор надо залечивать и здесь, где не было боев, куда не доходил враг».

...Он поставил на полях восклицательный знак и сделал пометку: «Дальше — Звездный». И там, в толпе ребят, сын Константина Шарыпова, Виктор — внук красного командира. Захваченный потоком рождающегося сюжета, Байков вспомнил площадь и деревянный помост, над которым в свете прожекторов был развернут транспарант «Даешь БАМ!», увидел забинтованную голову вернувшегося с пожара Толи Гречушкина, который морщился то ли от боли, то ли от грома ударников эстрадного ансамбля и безразлич-

но смотрел на солиста в облегающем костюме и игрушечной каске, запевающего: «Это сердце стучит — БАМ-М...» Но вот его пронзительный тенор тонет в мощном голосе незримого хора: «Живи, Земля, живи, Земля, и вы поймите, люди, второй Земли, второй Земли, второй Земли не будет. Из тысячи планет такой зеленой нет, из тысячи планет — такой любимой нет...»

Простота и безыскусность жизни всегда только кажущиеся. Да, трудно, очень трудно сделать пьесу о БАМе, настоящую, вместившую все, что пережили на этой земле разные люди многих поколений. Мало, ничтожно мало перерыть множество книг, музейных экспонатов и мемуаров, не хватает порой и целой жизни, прожитой в этих местах в гуще событий.

Думали об этом, стоя у стенда с уже знакомой фотографией, на которой пятеро... «А что стало потом с Константином Шарыповым?»

«С Константином? — музейный работник посмотрел на нас. — Вы о Викторе Шарыпове слышали? Руководит фольклорным ансамблем в ДК «Байкал». Так это сын Константина, после войны уже родился... Да, ему сам маршал Чуйков книгу подписал». Эта книга «Сталинград. Июль 1942-го — февраль 1943-го».

Откроешь — надпись: «Витя, твой отец в 1942-м году был моим бойцом и сражался в Сталинграде вместе с теми комсомольцами, которые в дни смертельной опасности прикрыли грудью Мать-Отчизну. Это были верные и преданные сердца. Всегда помни, чей ты сын. Маршал В. И. Чуйков. Москва, 12 февраля 1975 года».

Всегда помни, чей ты сын...

...Недалеко от Улан-Удэ, возле поселка Иволга, стоит особняком однобокая сопка. Правый склон ее выдуло ветром — никто теперь не помнит, когда это было, но сопку по сей день считают в Бурятии священной. Говорят, что 21 июня 1941 года на вершине этой сопки люди видели белого коня. По бурятским преданиям — знак большой беды. С тех пор сопку зовут «Холод белого коня».

Мы стояли на дороге и смотрели на окутанную туманом вершину. Как же далека была Бурятия от линии фронта! И как близка.

XVIII

Как-то сразу после вахты Анатолий приехал в Северобайкальск, чтобы обговорить проведение нынешней «Театральной весны». «Театральная весна» — смотр народных театров и театральных любительских студий — его затея, и, как все его затеи, она с легкой руки стала традицией и обрела все твердости традиции, диктующей свои условия.

Весь день он пробегал по инстанциям: созванивался, согласовывал, писал необходимые бумаги и лишь на закате, освободившись, вспомнил, что не только не обедал, но и не завтракал. Столовая уже закрывалась, девушка в вязаной шапочке и длинном, несколько раз обернутом вокруг шеи узком шарфе, торопясь и гремя стульями, мыла пустой зал. Анатолий постоял на пороге, вздохнул: «Уже все? Извините», и хотел уйти, но девушка, хмуро глянув на него, сказала: «Проходи, что встал? Иди по краю».

Анатолий почитал меню: там значился борщ украинский, молочный суп, суп гороховый, плов, рыба ледяная, гречка, вермишель, компот, чай, но все это было зачеркнуто химическим карандашом, и оставался только хлеб и напиток яблочный. Из служебного помещения с достоинством вышла высокая полная дама с родинкой в уголке рта.

— Лариса! — окликнул ее мужской голос.

— Подожди, обслужу... Есть суп молочный и рыба, будете?

Анатолий смущенно улыбнулся:

— Что дадите.

Сел к окну за крайний столик и, подумав: есть совсем не хочется, но надо, — взял почерневшую алюминиевую ложку. На Бурятском участке БАМа к художественной самодеятельности, а в частности, к народным театрам, руководство относилось как к мошке, от которой никуда не деться, но отгонять надо. У Байкова были в Улан-Удэ и Северобайкальске неприятные, резкие разговоры, где ему начальственно указывали, что он отнимает у занятых людей время по пустякам. И Анатолий, погрузив ложку в суп, переживал очередную неприятность... Тут к нему и подсел мужчина.

— Байков?

Анатолий внимательно посмотрел на соседа: светлые глаза с немного тяжеловатыми веками, седые, сильно поредевшие волосы, толстый, домашней вязки свитер. Нет, он его не припоминал.

— Шалямов — моя фамилия. В Звездном, когда вы строили клуб, звал вас к себе на работу.

Байков кивнул, ему казалось, что с того времени прошла целая вечность, на самом деле девять лет.

— А вы не едите? — Анатолий увидел, что перед Шалямовым пустой стол.

— Это вы, молодой человек, поздно обедаете. Я теперь в Северобайкальске работаю, начальник средней руки, так сказать, а Лариса — жена моя. Может, чем столовское хлебать, к нам зайдете?

— Я прямо с вахты, в Кичере семья, дочка вторая совсем маленькая, дома ждут.

Шалямов поднялся, слегка прихрамывая, прошел на кухню. Вернулся с подносом, на котором были гречневая каша, яичница, салат из капусты с фиолетовыми кружками вялого лука. Через несколько минут его жена принесла крепкий и горячий чай. Байков проводил ее взглядом: вот и не надо работать над походкой, осанкой — пройдет по сцене — и уже характер. Даже без слов.

Шалямов тоже посмотрел на жену и сказал:

— Лариса, поставь нам чайник, стаканами не наносишься, — и обратился к Байкову. — Я теперь, выходит, ваш зритель. Два спектакля видел. В году семьдесят восьмом, кажется, «Заседание парткома», а недавно «Наедине со всеми». И слышать — слышал. О бригаде вашей в газете читал, по радио Бондарь выступал. Ладите с ним?

Байков с удовольствием отпил горячего чая:

— У каждого свой участок. Что нам с ним делить?

— Это по-мужски. Да, а как с наградами дела? Что слышно?

Анатолий поморщился, ему показалось, что разговор съезжает не туда. Но Шалямов был неплохим физиономистом и легонько похлопал Байкова ладонью по левой руке.

— Знаю, знаю, не из-за этого тут, — и чтоб совершенно сгладить обстановку, по-домашнему вздохнул. — А на меня болячки навалились. Суставы крутят, хромать даже стал. Остеохондроз, говорят, а по-

просту намерзся, намотался, постарел, поэтому и осел теперь в конторе, у батареи, на одном месте. Книги стал почитывать. Вот ваш спектакль о «потребности самоочищения» посмотрел. Был в Улан-Удэ в командировке, гляжу, эта книжечка лежит, А. Гельман «Наедине со всеми». Читаю: «...возможно, один из самых опасных недугов человека — нравственное самодовольство». Да, твердеет наша душа, потом хотим из нее исторгнуть звук высокий, духовный, ан нет, столько лгали, столько рвали ее струны, теперь оттуда одно мычание — и вся тебе мелодия... Вот до пятидесяти пяти жил нормально, а после откуда что взялось, душа какая-то объявилась. Лежу, кости ломает, и ее, окаянную, ломает... Но вы пока по молодости лет и не знаете, что это такое? Как со здоровьем?

— На больничном еще ни разу не был, это точно. — Анатолий наливал себе третий стакан чая. Шалямов примолк, задержал на нем взгляд: что-то парень бледный, и глаза уставшие, воспаленные, и щеки провалились.

— Что все чай да чай. Вода мельницу ломает, Анатолий... как вас по отчеству?

— Сергеевич.

— Пойдемте к нам, Анатолий Сергеевич, а в полвосьмого наш «Магирус» в Кичеру пойдет, вас и подкинут.

Анатолий посмотрел на часы, было около шести.

Шалямов потер рукой подбородок:

— Оставайтесь, оставайтесь! Теперь небось еще через столько же лет встретимся, если доживу. Мне-то на пенсию в восемьдесят восьмом.

— Тут будете жить?

— А куда я от нашей дороги, от наших рельсов? Ну, это коли шутить, а вообще-то ехать некуда. Всю жизнь на стройках, сначала Ташкент, потом Братск, Усть-Илимск, вот здесь девятый год. Климат менять нельзя, весь организм на здешние условия перестроился. Семью вот создал. Лариса местная, из Нижнеангарска, бабка ее была внучкой декабриста.

— Декабриста? — Анатолий оживился.

Была у него идея пьесу на стыковке начать рисунками декабристов. Даже решил собрать воспоминания бамовцев, чьи родовые корни уходили к тем, кто в прошлом столетии прибыл в Сибирь, пережив восторженный и трагический декабрьский день на Сенатской

площади. Но тогда задумка пьесы распадалась на три части — получалась уже трилогия, от которой он сразу отказывался. А если сделать мозаикой, калейдоскопом? Может, современное сознание таково, что именно калейдоскоп наталкивает на нужные ассоциации, порождает живой отклик?

— Что задумался? — Шалямов достал сигарету. — Куришь?

— Нет, как-то все времени не хватало. — Анатолий откинулся на стуле. Подошла девушка в бесконечно длинном шарфе и блестящей японской куртке.

— До свидания! — она улыбнулась Шалямову, а заодно и Байкову, а может, напротив, Байкову, а заодно и Шалямову, но каждый из них сейчас был в другом и думал о другом. Вышла Лариса в белом пуховом платке, в зимнем, туго застегнутом под подбородком пальто.

— Что? Может, и правда, чем тут сидеть, на минуту заглянете? Мы рядом живем. Я пойду вперед, кофе поставлю.

— Ну? — Шалямов поднялся. — По дороге к Мындреску зайдем, он тебя до Кичеры подкинет.

Уже минуло весеннее солнцестояние, и сумерки были долгими, багряно догорающими за белыми снегами. Анатолий ехал в Кичеру, растревоженный встречей с Шалямовым. Тут, на строительстве, жизнь шла как-то на одном временном срезе, все почти были ровесниками, но так уж устроен человек, что необходимо ему постигать бытие одновременно с разных возрастных точек. Вот не хватало иногда Байкову точки зрения именно Шалямова.

Да, и в пьесе нельзя решать диалог поколений воспоминаниями одних и участием в жизни других. Действительно, получаются острова времени, где каждый учится жить как бы заново, а все исторические пласты окаменели в книжном знании... «Магирус» подкинуло на ухабе, Анатолий и шофер стукнулись головами.

— Фу, черт! — сказал веселый молдаванин Мындреску. — Куда только глаза глядят?

«Куда только глаза глядят? — про себя продолжил его мысль Байков. — Память прежде всего эмоциональный родник, и историческая память — тоже. Но как, как все это показать!»

— А что, красивый город? И Байкал, и лес, и ры-

балка, и охота, и горячая вода, да еще небось и метро тут будет?! И имя нормальное— Северобайкальск. Вот только бы хату мне тут дали! — вздохнул шофер.

Анатолий смотрел в лобовое стекло и видел Северобайкальск с его вагончиками, деревянными домами и белыми панельными новостройками.

...Город начинался в глухой тайге на мысе Курлы. Откуда оно, это название? Во всяком случае, охотничьего эвенкийского зимовья здесь никогда не было, да и изыскатели обходили неуютный ветреный мыс стороной, зная от местных жителей, что в здешний распадок приходят умирать волки, отчего он и прозван Волчьей падью. Веками шумела здесь тайга, хранимая ветрами и стужей. Только в 1975-м пришли сюда ленбамстроевцы. На кальках — парки, стадион, Дворец культуры, зона отдыха на берегу Байкала. Наяву — временный поселок, теснота и ветры. Говорят, будто у каждого города свой запах — Северобайкальск пахнет ветром. Триста шестьдесят шесть ветров дуют с Байкала — по числу рек, впадающих в него. И потому ленинградцы строят здесь дома волнообразные, как бы вобравшие в себя лекальные изгибы ветров, все их переменчивые кривые. Ветры всегда жили в этой тайге, теперь они поселились в новом городе. Даже в жаркий день ветер перехватывает горло, гудит в ушах.

По эвенкийскому преданию, Байкал разбушевался в глубокой древности, когда покинула старика отца красавица Ангара, устремившись навстречу могучему Енисею. Не уберегли ее ни Няньки, ни Черные Коршуны, не вернули в отчий дом грозные гонцы. И тогда вырвал в гневе Байкал кусок гранитной скалы и бросил его вслед беглянке. Но и скалу обежала стороной Ангара: обогнув камень, который с тех пор люди нарекли Шаманом, устремилась Ангара к северу, навстречу сверкающему Енисею. А вслед ей гудел могучий и бессильный Байкал, посылая вдогонку поочередно баргузин, култук, сарму и еще три сотни своих загадочных мощных ветров...

Как и прежде, мыс Курлы открыт всем ветрам. Гуляют они по улицам Северобайкальска, качают тонкоствольные березовые и лиственничные рощицы, поднимают плотную песчаную пыль, затягивая полупрозрачным облаком ослепительно белое байкальское солнце. Временный поселок (или старый город) по-

дальше от озерного берега, и даже тот факт, что не видно отсюда беспокойной воды и нависших над ней серых скал, создает иллюзию, будто в старом городе и теплей, и уютнее. Но переполнен рейсовый автобус, соединяющий временный поселок и новый город. Прибывает населения в Северобайкальске (за 10 лет оно возросло в 10 раз), едва ли не каждый месяц новоселья, и новые кварталы хорошеют прямо на глазах. Главный проспект, конечно же, Ленинградский. Неподалеку отсюда под памятной стелой — капсула со священной землей Ленинграда и обращение первостроителей к комсомольцам 90-х годов.

— Да, нормальный город. Его можно обжить и полюбить. — Байков кивнул на финский склад-гармошку, переоборудованный под клуб. — Хорошо бы и потом сохранить своеобразие архитектуры: настоящий крепкий клуб, но именно вот такой растянутой гармошкой, и больше дерева в облицовке, не стоит и ландшафт ровнять, пусть дома идут террасами.

— Ты был в Молдавии?

— На Украине был, у нас много ребят с Украины.

— Молдавия — это в некотором роде совсем другое... — И Мындреску засвистел. Он свистел народные, очень звучные протяжные мелодии, потом несколько популярных песенок Челентано, а когда свистеть ему надоело, внезапно спросил своего попутчика: — Нормальный мужик Шалямов, а?!

Байков, задумавшись, переспросил:

— Что?

— Шалямов — мужик хороший. Тут у него на Витиме сын будто, но не признает его. Да...

Мындреску опять засвистел.

— Слушай, а ты отлично свистишь. Небось поешь?

— А я молдаванин, у нас люди песенные.

Байков вздохнул: сколько талантливых ребят на трассе, но всех не соберешь под одну крышу. Сейчас условия для репетиции хорошие, есть прекрасный вагон-клуб на укладке, выбил он и проекционный аппарат, видеомагнитофон. Недавно отснял неплохой, но пока во многом ученический видеорепортаж, такие куски прекрасно оживят спектакль, да и ребятам помогут увидеть себя со стороны.

— А я у вас в бригаде как-то был. Кино смотрел, я тогда еще в мостоотряде работал. Товарищ и позвал: «Пойдем, кинуху на укладке посмотрим». Что

и говорить, повезло вам. Работа всей стране видная. А где это ты так загорел?

Анатолий заглянул в водительское зеркальце, на него оттуда смотрел темнолицый усталый человек:

— Шпалы креозотом смолим, вот от паров и шелушится.

Так они и ехали по зимнику в большом оранжевом «Магирусе», и на какое-то мгновение Анатолию показалось, что ничего не может быть лучше, когда уставший, выполнивший планы сегодняшнего дня, возвращаешься домой, к семье, к малышам — и за стеклом машины сворачивается и разворачивается панорама тайги.

Есть у географов понятие — «ось развития». Ключ к освоению пионерных территорий. Такой осью станет для здешних мест трасса БАМа. От нее ответвятся меридиональные отростки, потом сцепятся между собой — и постепенно будут «распечатываться» новые и новые земли. Вот Мындреску рассказывает, как он сделал парничок, чтоб у его «короедов» был витамин С. Человек — существо оседлое, только укоренится на каком-нибудь участке суши, тут же начинает обустраиваться: строит жилье, складывает печку, сажает картошку и лук... Где-то, наверное, жизнь и лучше, и проще, но раз уж я тут, буду жить и делать жизнь такой, какой ее понимаю...

Вспомнил Анатолий и корявый листовой кактус на оконце у Шалямова, и снисходительно-веселые нотки в голосе хозяина:

— Да брось, Лариса, что там показывать! Редкость какая цветет. И гордится же таким уродом! Облысел весь, облез, колючки выпали, а бутончик ничего себе, нежный. Ну, чем не стариковская любовь?! Забавное зрелище, а, Байков?!

Анатолия подтолкнул Мындреску:

— А сам петь любишь?

— Люблю, — внезапность вопроса показалась Анатолию любопытной, и он улыбнулся. — Но давно не пел.

— Давай споем! Я, бывает, по зимнику еду и пою, так веселей. Ну, давай, что ли?

И они запели. Было уже совсем темно. Сверкали чистые, будто совершенно новые, родившиеся только сегодня звезды. В широком, как экран, лобовом стекле «Магируса» плыл холодный, тревожащий запахом талой воды апрельский вечер.

XIX

Шел дождь, мгновенно образуя глазированную корку на шпалах, рельсах, укладчике; блестел как бы заново покрашенный бронепоезд, блестел гравий насыпи, лаково чернели стволы деревьев в осевшем сером снегу. Но в промозглом пейзаже, напоминающем предзимье, было нечто тревожащее, весеннее; и этим нечто была ясная воздушная промоина над восточной полосой тайги.

Но спроси сейчас у Володи Снегового: «Какая погода? Быстро отвечай!» — он, может быть, и не сразу бы сообразил. Потому что надо было разогнуться, поправить сползший подшлемник, оглядеться, но на это все нужны минуты две-три, как раз те самые свободные минуты. которых в этот апрельский день у него, как и у братьев Графовых, Симонова, Байкова и всех остальных членов бригады, не было с начала смены. Чувствовалось, что работа набирает финишный темп, до стыковки оставалось еще полтора года, но они вышли на ту прямую, когда начался особый предстартовый счет времени.

Совсем недавно, в конце марта, обошли Северомуйский тоннель двадцатишестикилометровой веткой, на разъезде Окусикан встретили рабочий поезд. Как это буднично звучит: встретили рабочий поезд. Поезд пришел по пути, проложенному ими. Снеговой помнил, кажется, даже вон ту шпалу с черным пятном креозота, помнил рядом немного косо вошедший костыль с вмятиной в головке. И все же это была уже готовая железная дорога, совершенно отдельная от него и от других членов бригады, и по ней ехал самый настоящий поезд, а они этот поезд встречали. Они тогда страшно вымотались. Снеговой стоял, опершись на пустую бочку из-под солярки, и смотрел на рабочий поезд, на праздник немного со стороны. Запах солярки мешался с морозцем, парни бегали, что-то еще доделывали, а Володька Снеговой думал: надо запомнить — разъезд Окусикан. Что это такое — Окусикан? Лично для него — это рабочий поезд, праздничная суета и запах солярки в морозном весеннем воздухе...

А теперь опять один из будних дней...

— И раз, и... Еще раз! Чуть назад! Стоп! — донес-

ся сквозь гул крови в ушах мягкий бригадирский бас. Покачай-ка стокилограммовый «целовальник», да не промахнись: все четверо на едином дыхании должны уловить нужный и единственный момент, ударить точно в торец рельса, и звякнут накладки, намертво сцепив звено со звеном, — готовы двадцать пять метров нового пути.

Володя вздохнул, поправил наконец подшлемник и увидел мгновенно, как ему показалось, прямо чудо какое-то — черно-белый мир вспыхнул солнцем, и холодные яркие лучи заиграли цветными огнями на обледеневших ветках, рельсах, откосах, в каждом камне насыпи. Все началось с промоины на востоке, а теперь ветер очистил небеса, и они свободно и стыло трепетали над бондаревцами.

— Здорово! Ну и ну! Красота! — сказал Снеговой. Он сказал это Байкову, который только что стоял с ним, а до этого плечо в плечо раскачивал «целовальник». Но Байкова рядом не оказалось. Снеговой обернулся. Байков шел к бронепоезду, и ничего не было в этом необыкновенного, идет себе и идет, в руках каска, слышно, как талый снег хлюпает под сапогами. Но было в его спине что-то такое, что заставило Снегового догнать его и пойти вместе.

— Весна. На Украине редиску продают пучками. Любишь редиску в сметане и с луком?

Байков молча шел к бронепоезду. Его лица Володька не видел, но щека была желтовато-бледной.

— Толь! У меня витамины вот какие-то есть. Этикетка облезла, но все равно: витамины — они и есть витамины.

Совсем низко, протяни, кажется, руку и дотянешься до нее, пролетела утка. И то, как она хлопала крыльями, и блеснувший ее черный глаз обрадовали Снегового. Он покачал головой и проводил утку взглядом: она продолжала лететь вдоль полотна, ниже вершин деревьев. И Байкову стало легче — он перевел дух и остановился, потер левой рукой куртку в том месте, где не то чтобы болело сердце, а просто сердца как бы не стало. Но там, где оно раньше было, несколько минут стояла такая неподвижная тишина и пустота, что у Анатолия все поплыло перед глазами. Боясь упасть на виду у всех, он механически зашагал к бронепоезду. Пустота не проходила, к ушам и затылку прилила горячая тяжесть, но пролетела

утка, да, пролетела утка, и он перевел дыхание. Сердце вернулось на место. Он чувствовал: вот оно, живое, трепетно бьется и немного болит. Но эта боль уже была не так страшна, как секунду перед этим неподвижная тишина.

Байков поднялся в кухонный отсек, выпил кружку чая, напился и Володька Снеговой. Казалось, за этим они и шли. На обратном пути метров двадцать пять даже пробежали, бежал и Анатолий. А что было с ним? Ерунда, голова закружилась, наверно, когда раскачивал «целовальник». И Снеговой забыл об этом сразу, тем более что день разгулялся в один из самых замечательных. Солнце стояло теплое, все журчало, капало, и с обледеневших веток лиственниц сыпались веером алмазные блестки. Насыпь парила, парили намокшие куртки, стоило хорошо вдохнуть — слышался пьянящий запах свободной от снега земли. Это дышали на припеке проталины, подернутые уже легким зеленым облачком проклевывающейся травки.

Анатолию работалось нормально, даже не знобило, как бывало часто в последнее время. В мыслях беспорядочно мешались думы о «Театральной весне», о семье, которую нужно вывезти в отпуск, о том, что пьесу к стыковке пора начинать репетировать. В общем, она почти готова, нужно только собраться всем вместе, почитать, подумать, кое-что доделать.

В то время на его адрес приходили пьесы известных и неизвестных драматургов, которым хотелось написать о БАМе и именно для их театра. Он снимал с бандеролей размочаленные почтовые бечевки и внимательнейшим образом читал толстые и тонкие пьесы. Потом их читала Люда, читал кое-кто из ребят. И хотя многие вещи были сделаны профессионально, в одних чувствовалось подлаживание под рабочий театр, взгляд немного сверху и со стороны, в других же довольно конъюнктурно и многословно говорилось о проблемах, причем создавалось впечатление, что авторы стараются при этом не упустить ни одной.

— Послушай! — Анатолий усадил Люду рядом с собой. — Вот что тут говорит один главный герой: «На современном этапе работать честно, понимаете, честно и дисциплинированно — наша первейшая задача. А если мы с вами этого не понимаем или не хотим понимать, то мы не имеем права и называться современными людьми».

— Я читала это, когда ты на вахте был. — Люда хотела уйти, но он остановил ее.

— Подожди, дальше такое...

— Толя, я правда читала, там еще жены бунт подняли, не захотели сидеть дома и решили с детьми выходить на работу, а он перевернул стол у начальника.

— Люда! — Анатолий вздохнул. — Я не о сюжете. Понимаешь, умный и, наверно, не бесталанный человек вкладывает в уста положительного героя, как ему кажется, программную мысль спектакля, что работать по-современному — значит работать честно и дисциплинированно.

— Да, — Люда посмотрела на листочки, разбросанные на столе, на общие тетради с торчащими закладками, на темную, холодную, но все равно уже весеннюю ночь за окнами, которые она так старательно вымыла к празднику... Вот они женаты пять лет, у них двое детей, и этот худой, всегда серьезный парень — ее муж, и это уже на всю жизнь, собственно, это и есть ее жизнь. Недавно приехал из Ленинграда и сказал: «Люда, хочу шляпу с широкими полями. Думаешь, мне пойдет?» Воспоминание обдало ее нежностью, и она провела рукой по его волосам... Но Анатолий смотрел на нее и ждал каких-то слов о пьесе, которую она дважды читала, принуждая себя к усидчивости и старанию. — Да, правильно все, надо работать честно.

— А кто спорит? Надо и еще раз надо! Но для нормального человека работать честно и дисциплинированно — это просто потребность, это всегда — было и есть — современно. А говорить об этом с демагогическим пафосом — все равно как провозглашать, что на современном этапе мы должны, встречаясь, здороваться.

Люда улыбнулась:

— А знаешь, что там мне показалось смешным? Герой звонит со стройки своей девушке, объясняется в любви, зовет к себе и при этом говорит, что их СМП выполнил план на сто тринадцать процентов и они обошли все другие строительные организации. Я бы к такому ни за что не поехала.

— Вот и я не был дома десять дней, приехал и говорю тебе о работе, о пьесе, а сейчас пойду на репетицию.

— А я тебе говорю, что Юлька кашляет, а Настасья упала и ударилась лбом. Тоже мало хорошего...

Анатолий поднялся, обнял ее за плечи. Они подошли к окну: его лицо было пересечено рамой форточки, а она отражалась в стекле почти полностью, и его большая теплая рука лежала на ее плече.

— Девчонки вырастут, по БАМу будут ходить поезда, и покажется им, что мы строили эту дорогу и были молодыми давным-давно, а может, и не были молодыми никогда, всегда были старыми, и всегда здесь была железная дорога. Байков! — Голос у Людмилы сделался строгим. — Ты меня и седую, и старую будешь любить? А то станешь знаменитым режиссером, а в них всегда влюбляются юные актриски.

Он еще крепче прижал ее к себе:

— Все у нас с тобой будет хорошо! Ты веришь мне? Все у нас с тобой будет нормально и хорошо!

Весна 1983 года началась дружно. Опушились лиственки, быстро высохли и белели бетонные дорожки с окаменевшими следами собачьих «пятериков», кнопками подошв адидасовских кроссовок, четкой графикой протекторов шин «Уралов» и КамАЗов. Следы времени — его адресная отметина... В тайге цвели жарки, школьники проводили операцию «Багульник» — чтоб не вздумали вязать из ценного кустарника рациональные веники, готовя к празднику дворы. Заборы, деревянные домики, гнутые жирафы и перекладины во дворе детского садика «Таежник» — все пахло свежей краской, сохнущей на весеннем ветерке. Днем, в полдень, стоял густой, хвойный дух близко подступившей к жилью тайги...

Даже не верится: неужели почти восемь лет прошло, как пришел в Звездный первый поезд? В семьдесят шестом звезднинцы отправили его на Нию и Небель, потом были Магистральный, Улькан и Кунерма. А в семьдесят восьмом, 28 октября, в канун юбилея комсомола, первый поезд пришел к Байкалу, на перевал Даван. Теперь уже смотрят в озеро окна Северобайкальска, раздвигают стальные нити магистрали довольно широкую полоску суши между Байкалом и новостройкой: ничего не поделаешь — узловая станция, а значит, повременим с гранитной набережной. Будет, все будет — дай только срок. Когда-то не ве-

рилось в Невский проспект на берегу Байкала, в музей, в картинную галерею, в школу искусств...

Говорят, когда самый первый десант перешел Лену и двинулся в сторону будущего Звездного, кто-то, подражая голосу Левитана, произнес: «Граждане пассажиры! Поезд на океан отправляется через десять лет. Просим занять свои места!» Они заняли свои места, только не пассажирские, а рабочие, и несется теперь дорога к океану целых девять лет. Все зримей день победы, все ближе час стыковки.

XX

В эти весенние дни работы было особенно много, накопилась усталость. Порой, поднимаясь и садясь на скамью, они невольно покряхтывали, обставляя, конечно, все это юмором. В последних числах мая возвращались с вахты молча, каждый думал: наконец-то передохну. Бочий сказал:

— Э, кого я недавно видел — Филатова. Он в Северобайкальском районе главный охотовед. На Байкал, кстати, приглашал подежурить.

— Звезднинцы потихоньку сюда стягиваются. — Анатолий расстегнул ворот рубашки, сквозь стекла автобуса вовсю припекало солнце.

Было время, жили они в общежитии вместе с Филатовым — парнем во всех отношениях небезынтересным. Невысокий, русоволосый, с пронзительным синим взором, был он с ними, но вместе с тем как бы и в стороне, сам по себе. Целыми неделями пропадал где-то в тайге, приходил худой, загорелый, радостно возбужденный, и если заставал ребят, то начинал «травить» охотничьи байки. Рассказывал обычно не про себя, героями его приключений были птицы, медведи (к ним Филатов питал слабость), рыси, росомахи, соболи и прочая живность. Эти звери, как, впрочем, и браконьеры, будто бы оказывались умнее и хитрее простачка Филатова, а он — этакий Иванушка-дурачок — набредал на них случайно, пугался, прятался, скрывался в дупле, его водили в чаще леший и русалка, он проваливался в медвежью берлогу — и не было конца его феерическим сказкам. Ребята ухохатывались:

— Еще, Игорек, давай, а что дальше?!

Они, разумеется, серьезно и представить не могли, что рядом со стройкой может существовать весь этот звериный и птичий мир со своим языком, повадками и тайнами. Байков же приглядывался к Филатову с любопытством, видел, что молодой охотовед — человек одаренный, своеобразный, очень дельный, и не мог забыть случая, когда, идя поздним вечером из клуба, столкнулся в темноте с коренастой, остро пахнущей соляркой и порохом фигурой:

— Паря, — хрипло произнесла тень, — я знаю, ты с охотоведом в корешах, передай: Женя с развилки тут. Я ему брата своего не прощу. Вот.

Байков, как только Филатов вернулся из тайги, сказал, что за ним охотится один из местных жителей, похоже, браконьер.

— Женя, что ли? Так засадил его братана, его поймаю — засажу. И так стройка зверье поприжала, а его братан на «этээске» медведицу с двумя медвежатами гнал, пока не задавил, гнида! — Филатов щурил сверкающие синие щели, обветренные губы были тонкими, злыми, и ничего в нем сейчас не напоминало разудалого Иванушку.

Через некоторое время и другие ребята, особенно те, кто пытался после работы поблукать по тайге с двустволкой на незаконных основаниях, убедились, что Игорек Филатов не такой уж весельчак и рубаха-парень. А как-то Анатолий вошел в комнату и заметил, что Филатов поспешно прикрыл общую тетрадь.

«Неужели стихи?» — Байков вышел, сделав вид, что ничего особенного не приметил. Правда, иногда Анатолий думал, почему Филатов держится особняком, хотелось разговорить его, но обстоятельства их разводили.

Однажды одетый, только разве без шапки, Филатов сидел с утра и читал книгу. Погода была пасмурная, в комнате стоял полусвет, но он сидел, смотрел в книгу, ни разу не зашелестев переворачиваемой страницей. Жил с ними тогда Андрюшка Максимов, который тихонько кивнул Байкову и нарочито громко сказал:

— Толь, смотри, что я тут придумал для спектакля. Пойдем, покажу.

Они вышли в коридор:

— Надо Игорьку помочь. У него девушка в Иркут-

ске, он ее сюда взять задумал, а денег на билеты нет.

— А ты-то, Алексей, откуда в курсе? — спросил Анатолий.

— Телеграмму она ему прислала. Ждет сегодня. Анка моя на почте, вот и сказала.

У Филатова оклад был сто тридцать рублей, да плюс накрутки, что полагались по поясу. Выходило негусто, меньше двухсот. Правда, жили они тогда общим котлом, все заработанные деньги держали в одном ящике и брали по мере надобности на еду и одежду, но взять на билеты Филатов, видимо, не решался. А может, и не хотел: какая, к черту, семья, если он не может даже купить ей билет. А что потом? Тоже на деньги ребят будут жить? Так он думал или не так, но время шло, а книгу он все читал, листы не переворачивал и никуда не спешил.

Байков и Андрюшка Максимов ворвались в комнату, сунули в карман куртки Филатова деньги, нацепили ему на нос шапку и буквально впихнули в попутку до аэродрома...

— А ведь по-настоящему на Байкале я, считай, и не был! — протянул Володя Снеговой.

— Я б тоже не отказался. — Толя Симонов поднял лопаточкой крепко сжатые огрубевшие пальцы. Симонов работал в их бригаде второй год, а до этого встречались они с Байковым в творческой лаборатории режиссеров народных театров в Братске и позже в Улан-Удэ, где Симонов был старшим методистом в Доме художественной самодеятельности. Когда Байков улетал к себе в бригаду, Симонов на службу являлся в дурном настроении. Его раздражали аккуратные ряды стульев, выглаженные вымпела на стенах, тщательно выписанные на ватмане планы работы, которая нужна была только, как говорила их уборщица, «для палочки». Симонов садился за свой стол, и казалось ему, что жизнь его потерянная, мелкая, ничтожно частная, а сам он гоголевский Акакий Акакиевич, рожденный писать фломастерами разноцветные планы.

Когда бондаревцы переехали на Бурятский участок БАМа и обосновались в Кичере, Симонов не выдержал — прилетел к ним. Принимать его в бригаду Бондарь не хотел, ему нужны были специалисты. Но к

рекомендации Байкова, председателя совета бригады, прислушался...

Пока ехали и говорили о Байкале, всем хотелось «рвануть» на природу, но, когда разошлись по домам, сразу окунулись в накопившиеся после вахты хозяйственные заботы. Не говоря уже о том, что жены и детишки встречали их так, что каждый отъезд на вахту становился делом тяжелым. Вот почему на Байкал с Филатовым отправились только Байков и Симонов. Симонов был без семьи, а Байкова жена сама уговорила отдохнуть, в надежде, что он хотя бы немного развеется.

Филатов стоял у березы в выгоревшей штормовке, рядом с ним лежал тощий рюкзак.

— Мы пешком? — удивился Толя Симонов, знавший, что Филатов возглавляет при горкоме комсомола природоохранительный отряд на общественных началах.

— Техника у браконьеров, но закон на нашей стороне, — улыбнулся Филатов. — Давайте ловить попутку, съездим на Слюдянские озера, там нерест.

На Утесиках возле губы Анакочан они вышли из машины, жаль было промахивать такую красоту «на колесах». Филатов так и сказал:

— Скорость человеческая — пешая ходьба, тогда глаза все вокруг видят, понимают и учатся, а на колесах и крыльях можно только бежать и догонять.

По тропинке, осторожно обходя кусты багульника и еще каких-то, по словам Филатова, редких кустов и цветов, они стали спускаться к озерам. Анатолий радовался воздуху, свету, нравился ему и Филатов, показывающий тайгу и заповедные озера, как богатый и скуповатый хозяин свою квартиру. Сюда каждого не пригласят, но уж кто удостоился чести! «Вот редчайшая антикварная книга — XVI век! Осторожно, осторожно — шкаф в стиле «рококо», этого амурчика пришлось приклеить, задели, когда перевозили... Осторожно, не топчите багульник, становитесь сюда, а то тропинка поедет, тут осыпи. Прекрасное место, возьмите мой бинокль — туда, туда смотрите, это и есть губа Анакочан».

— А что же так с техникой плохо? — спросил Симонов, когда они присели передохнуть.

— У моих ребят из отряда свои моторки, правда, не такие оснащенные, как у браконьеров, но им пыла

и отваги не занимать. Недавно один схватил палку и держит как ружье, а другой в рупор кричит: «Приказываем остановиться, патруль! Патруль!» И, представьте себе, остановились...

Байков смотрел, как подрагивает выгоревший до ковыльной белизны вихор на темени у Филатова, как знакомо он щурит глаза, как загорел, похудел, но энергетический запал в нем не исчерпан, он еще человек, набирающий свою высоту. А он сам? Байков мысленно вгляделся в себя. Настроение было прекрасное, и сил, казалось, не занимать. Он приставил ладонь козырьком — над Байкалом плыли тугие, сверкающие, торжественно-величественные глыбы. Поблескивая снежным оперением, они входили в распадок, а на смену, меняясь и творясь в самые необыкновенные образы, являлись другие. Захотелось снять фильм. Собственно, он об этом давно подумывал, еще когда приобретал для вагон-клуба видеомагнитофон. Но как исчезает время, а он так мало успевает. В апреле ему исполнилось тридцать три, нужно спешить, как никогда.

У начала Слюдянских озер к ним подбежали закопченные на солнце голоногие ребятишки с шестами.

— Куда идете? Мы голубые патрули из села Байкальского, из шестого «А» класса.

Филатов серьезно, как взрослым, предъявил им свое удостоверение, о Байкове и Симонове сказал: «Это люди надежные, они со мной», похвалил за бдительность и посоветовал перенести «кирпич» повыше, чтобы машины не тревожили не только озера, но и зеленые прибрежные рощицы.

Дети убежали, а Филатов кивнул в их сторону.

— Байков, сходи как-нибудь в Байкальское. Старое эвенкийское село, тебе будет интересно.

Байков чувствовал, как синева озер и неба течет по его жилам, мышцы расслабляются, душа отдыхает, непроизвольная улыбка бродит по губам.

— Игорь, а ну, взгляни, — у ног крутилась рыжая, лохматая, как лисичка, собака с умной, узкой мордочкой. Она обнюхивала сброшенные у костра дрова. — У нее, похоже, лишай.

Филатов присел перед собакой на корточки, и, когда подошла к ним командующая голубым патрулем

босоногая, смуглая учительница-эвенкийка, подмигнул ей:

— Здравствуйте, товарищ Наталья! У дворняги лишай, надо ее от ребят отстранить.

— Был, похоже что, лишай, да бабка моя смолу варила, с травами мешала — и все теперь прошло, шерсть выросла, только в одном месте пока коротенькая. Ветеринар переписал рецепт. Говорит, в Москву повезет показывать.

— Сколько бабке лет?

— Это еще мамина бабка, за восемьдесят, наверно, но говорит — сто.

Учительница помешивала в котелке немудреную еду. Симонов и Байков щурились от дыма, но уходить от костра им не хотелось.

— Ну, уважаемая Наталья, надо, чтобы бабка не хворала, ветеринар приедет, ей из Москвы орден привезет.

Наталья засмеялась. Ее смуглое плоское лицо будто вспыхнуло на солнце.

— А как дежурство? — Филатов вынимал из рюкзака консервы, ловко вскрывал их, выливал в свой котелок. Прямо тут же, у костра, дергал тоненькие сочные стрелочки дикого чеснока, дал Байкову. — Попробуй!

— Каждый день два раза обходим озера по периметру. Два с половиной часа утром, два с половиной — вечером. Машины заедут за «кирпич», — заворачиваем, пока все слушаются. Это что, опять суп из топора? — спросила учительница, видя, что Филатов что-то тайно положил в котелок.

— Хочу вам и вот моим друзьям сюрприз сделать. Они устали, на трассе днюют и ночуют. Пусть сил наберутся.

— Ну, пошла! Пошла! — Наталья отогнала влажной босой ногой вылеченную бабкиной мазью псину и прикрыла помятый котелок голубых патрулей алюминиевой миской.

Симонов и Филатов ушли смотреть рыбью молодь в затоне, а Анатолий остался с учительницей.

— Что вы преподаете, Наталья?

— Ботанику, природоведение, зоологию. В школьной программе не такие уж и важные дисциплины, но я их люблю. А о вас я слышала от подруги, она спектакль ваш видела «В день свадьбы».

— Красиво тут у вас! — Анатолий встал, ему казалось, что новые, свежие силы хлынули в каждую его клеточку. — Почему озера Слюдянские?

— Слюду тут до войны добывали, шахты были. А места замечательные, ягодные, грибные.

— А не страшно вам тут с ребятишками, вдруг настоящие браконьеры?

— Браконьеры перед детьми больше робеют. Выходит, дите, а совести больше, чем у них. Наши возвращаются...

Мальчишки и девчонки, дежурившие на плоту, подплыли к берегу. Скоро пришли Филатов и Симонов. Все сели к широкому деревянному столу. Горкой лежали горячие картофелины, посыпанные хрусткой йодированной солью, на хлеб клали тушенку, каждому дали по большой кружке голубичного компота, мазавшего рот, как чернила. Филатов принес свою стряпню: это оказалось мясо, сваренное с консервированными овощами.

Учительница медленно и взыскательно прожевала кусочек, и опять как-то необыкновенно радостно осветило ее темное лицо белозубая улыбка.

— Вкусно.

И Анатолию показалось вкусно, никогда не ел он такого сочного и мягкого мяса.

— Что это, Игорь?

— Медвежатина. — Филатов с удовольствием осмотрел замерших ребятишек. — Не бойтесь, патрули, все по закону. Позвонили из колхоза: медведь коров задирает, приезжайте немедленно. Приехал, осмотрелся, познакомился с пастухами... Что делать — действительно медведище. Вот такой громадный, хищный! Была у меня лицензия — пристрелил зверя, — теперь его мясо едим. Давайте уплетайте, ребятки! — подбодрил Филатов школьников, особенно самого маленького, вытиравшего нос кулачком.

— Игорь Николаевич! — учительница тряхнула жесткими, густо блестевшими волосами. — Слышала я эту историю, но немного по-другому. Приехал один охотовед в колхоз, а пастухи — пьяные. Были они и раньше, мягко говоря, беззаботными, стадо часто уходило в сопки, вот и пропадали коровы. Кто-то им и подсказал, вызовите охотоведа, он спишет на медведя, а вы с ним договоритесь. Вызвали — не договорились.

Пришлось им отвечать по закону, но и охотоведу там несладко было.

День был по-летнему теплый, мягкий, свежий ветерок бодрил. Байков и Филатов даже сплавали с мальчишками на плотах. Легко скользили бревна по ледяной коричневатой воде, прямо под бревнами, там, где отражались зыбкие фигуры людей, стремительно проносились стайки рыбешек.

Игорь и Анатолий почти все время молчали, но охотовед вдруг достал записную книжку и сказал:

— Черкни вот тут, на чистом листочке автограф.

— Адрес свой? — спросил Анатолий, половчей пристраиваясь на плоту.

— Адрес что, я тебя и так найду. Автограф. У меня жена собирает автографы всех знаменитых бамовцев.

— Нет, — Анатолий закрыл блокнот. — Ты ей лучше свой автограф подари. О тебе вон все центральные журналы пишут. Я никакой не знаменитый. А потом она меня и не знает.

— Когда приехала она ко мне на БАМ, пора была холодная, сырая. Вижу, она собирает все силы, чтобы достойно держаться, переносить трудности мужественно. Поужинали мы, уже одиннадцать часов вечера, убрала она со стола, а я за куртку. Глаза вскинула и робко так спрашивает: «Куда ты, Игорь?» — «И ты одевайся, сейчас в театр пойдем». Она не шелохнулась. «В какой театр? Скоро одиннадцать». — «Это у вас в Иркутске культурная жизнь в одиннадцать замирает, а у нас в Звездном только начинается». Вышли, грязь по колено, она на мостках оступается, ходить по ним не привыкла. Идет, вцепилась в мою куртку и молчит. Думает, разыгрываю. Пришли в клуб. Смотрели «Город на заре». Сидела молча, а когда ты вышел и сказал: «А сейчас минута молчания в память тех, кто погиб за магистраль» — она губы закусила и не дышала. А ночью мне говорит: «Ведь я бы могла жить и ничего этого не знать и не понимать...» Так что давай свой автограф, Байков... Я еще пьесу для вашего театра напишу, про Байкал, про природу. Возьмешь?

«А что, это интересно, правда, интересно. Столько на БАМе талантливейших людей, ведь театр «Моло-

дая гвардия» может ставить спектакли молодых бамовских драматургов», — подумал Байков.

И они договорились встретиться с Филатовым через неделю...

Но когда прошла «Театральная весна», Анатолий почувствовал бесконечную, глухую, душную усталость. Она наваливалась сразу, и чернело в глазах, и приходилось с усилием выдыхать твердый, как свалявшаяся вата, воздух. Врачи запечатали анализы в конверт и, отводя взгляд, приказали: «Срочно летите туда, где вы родились!» — «Это не страшно? Это поможет?» — бестолково спрашивала Люда и сама боялась взглянуть на Анатолия. Он, кажется, стал еще выше из-за резкой худобы, сутулился почти незаметно для других, но она знала, она видела, как трудно стало ему держать свою вызывающую прямоту.

Из Чухломы его направили в костромскую больницу, и уже после первых анализов врач печально вздохнула и сказала Вере Александровне: «В Москву, может, еще успеете...» Лето только расходилось, в палату залетали бабочки-капустницы, где-то вращались катушки магнитофона: «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава...» Анатолий засыпал, и ему снилась трава, белые мелкие ромашки, на которых копошились узкокрылые мушки. «Я устал, — думал он. — Отдохну, сколько надо еще сделать. Собственно, все только начато, только начато...» На углу больничной тумбочки он писал Петровой:

«Здравствуйте, Людмила Михайловна!

Извините за такую задержку с ответом на ваше письмо, но оно нашло меня лишь два дня назад. Дело в том, что я впервые за 33 года решил наболеться вдоволь. Буквально два месяца назад всем хвастал, что ни разу в жизни не был на больничном, вот и наказан... 9 июня впервые в жизни обратился в больницу по поводу незначительного заболевания ноги.

Меня взяли и положили, начали каждый день брать анализы крови. И оказалось, что с каждым днем кровь все хуже... Остальное достаточно неинте-

ресно. Конечный результат таков: езжай лечиться на родину, там тебе будет легче. Лежу в костромской областной больнице, уверен в лучшем, но очень обидно, что лежать приходится во время отпуска. Таким образом, в августе меня еще не будет на БАМе. Очень жаль, что нарушаю ваши планы, но, может быть, мы сумеем организовать вам поездку в разгар сезона, в перерывах между сессиями. В октябре поеду в Ленинград, заеду к вам и договоримся. До свидания! Анатолий Байков.

14 июля 1983 года

А врачи советовались между собой, какие ему назначить лекарства, чтобы он доехал до Москвы. В машине «Скорой помощи» на носилки Анатолий не лег, устроил на них Веру Александровну, которая от пережитого волнения прихварывала последние дни. А сам сел рядом и стал смотреть на потемневшие деревянные дома, резьбу на ставенках и наличниках, на знакомые с детства клены и старые березы, возле которых назначались встречи... Свернули в проулок, и промелькнула женщина в ситцевом халатике с эмалированной желтой кастрюлей в руке. Она даже не посмотрела на машину, так залюбовалась красным цветком на блестящем боку кастрюли. За ней, отставая, плелся мальчишка лет шести, таща по пыли сетку. Губы его были сложены трубочкой...

Все это исчезло, но Анатолий каким-то остановившимся внутренним зрением продолжал видеть женщину с новой кастрюлей, из которой свисает магазинная упаковочная стружка, мальчишку, волочащего по земле авоську. И его заполонило острое и горькое прощальное чувство, и он вдруг как бы впервые увидел лето с его бесконечными и прекрасными подробностями. Плавало, надуваясь, на мягком ветру белье, щурился от пыли парнишка, едущий на ободранном велосипеде с удочкой и сачком для мальков. Беззвучно разевая клюв, взлетела с ветлы ворона со щербатым хвостом... Вера Александровна расспрашивала о ребятах из бригады, и Анатолий отвечал, точнее, пытался отвечать. Потом стали говорить о его чухломских друзьях, которых он передружил с бамовцами, и тут он внезапно вспомнил Тыю. Теперь это пригород Северобайкальска, каких-то двадцать километров, в этой стороне строятся дачи, а в семьдесят восьмом году

там стояла их палатка. Был удивительно брусничный август, сапоги краснели от сока, ягоды большие, почти с виноградину. А какие боровики и, главное, как они пахнут... Да, чем пахнут грибы? Влажной землей, травою, легкой прохладой росистого утра или острым плесенным душком моховой подстилки, усыпанной прошлогодней лиственничной иголкой?

«Все! — одернул он себя. — Это просто час испытания. Нужно только не расслабляться...»

Его положили в Боткинскую больницу, в Москву с детьми прилетела Люда. В их семейном архиве есть фотография — Анатолий стоит, обняв жену, у нее в руках белые астры. Они молодые, и он — улыбается... Эта фотография сделана в больничном дворе, куда его товарищ пришел с фотоаппаратом — «просто пощелкать». «Нет, я сидя сниматься не буду». Он резко поднялся, выпрямился: «Пусть нас запомнят такими». У Люды сжалось сердце, они никогда не говорили с ним о таком, близком и возможном... О том, что уже определили врачи: «Может, неделя, может, месяц, может, год...» А тут он вдруг обозначил: «Пусть нас запомнят такими...» Лечащий врач жаловалась Люде: «Скажите ему, чтобы не делал зарядку. У него кислородное голодание — это вредно». Но Люда чувствовала, как шершавый холодный комок, сдавивший ей грудь, рассасывается: «Раз он делает зарядку — все будет хорошо...»

И ему самому хотелось верить, что все будет хорошо. Болезнь даже помогала ему, например, необыкновенно обострилось зрение: он теперь видел и понимал окружающий мир с неведомой доселе четкостью и связностью всего живого с живым. Интуитивно он улавливал полноту и трагичность каждого момента, каждого слова и мог часами смотреть на разводы и разбеги коры дуба, виднеющегося в окне. В древесных морщинах виделась окаменевшая музыка, стройная и величественная гармония, и порой, засыпая, слышал во сне ораторию дуба. «Вот почему в сказках волшебники открывали людям язык природы», — думал он, проснувшись. Все, что он сделал до сих пор, теперь казалось ему только ученичеством, он чувствовал: в нем пришли в движение таинственные и мощные силы, и он должен сделать все, чтобы они питали его театр.

В палате с ним лежал молодой парень. Несмотря

на молодость, он был так измучен болезнью, что мечтал только об одном — скорее туда... Он лежал с Байковым каких-нибудь две недели и вдруг заметил, что на дворе солнце. Последние дни августа в средней полосе России медовые, гулкие, замечательно возбуждающие душу — и это вдруг открылось молодому парню, как открылась и любовь к той жизни, о которой рассказывал Байков. Как захотелось ему туда: в Звездный, в Кичеру, в Таксимо, на Витим. Как звучали эти названия, неужели еще несколько дней назад он не знал Байкова и думал, что самая отвратительная штука в жизни — это сама жизнь. Парень был моряком, у него была семья, но, узнав, что он тяжело заболел, жена ушла, быстро растерялись и друзья.

И вот легко ходит по палате Люда Байкова, в белом халатике, с туго связанными темными волосами. Она готовила Байкову и ему все самое вкусное и необыкновенное, и ее кулинарные выдумки не истощались. Приехали с трассы Слава Огородничук и Толя Симонов, они-то, как и вся бригада, думали, что Байков просто ушел в отпуск. Ребята сидели в палате, рассказывали о работе, показывали, какие книги купили в Москве: «Тебе, Толик, тоже...» И бывший моряк не заметил, как уже думает не о себе, а о Байкове.

Он спрашивал у Люды, у лечащего врача, у медсестер: «А какой у него диагноз? Все будет хорошо?» Что ему могли сказать? Острый лейкоз, надежды нет... И поэтому говорили подробно и неопределенно.

Огородничуку и Симонову тоже не верилось, не могло, не укладывалось в сердце, что счет идет уже на дни. «Я не могу его отпустить, не хочу, но...» — лечащая врач ушла по коридору, не договорив, а они стояли на чистом пестром линолеуме, остолбенев.

— Надо искать врача, других врачей! — убежденно проговорил Симонов. — Не может быть, чтобы в мире не накопился опыт лечения, столько людей болеют... — И они искали, бегали, звонили, они не могли его отпустить...

Были первые дни сентября. Лист на деревьях еще не утратил зелени, красные и синие стрекозы дергающимся полетом чертили тонкий воздух. У него был жар, но к полудню он очнулся и увидел: на развилке дуба сидит трехцветная кошка. Он вспомнил, что такие кошки к счастью, и что-то сжалось в груди.

Кошка встала, согнулась высокой дугой, выпрямилась, и ему показалось, что она глядит прямо на него. И прозрачный ее взгляд напомнил ему рыжую, желтоглазую, чисто умытую девочку, которой мать, крепко заплетая косички, так затягивала волосы на висках, что глаза девочки становились раскосыми. И вот эта девочка махала ему рукой, торопила, куда-то звала с собой. Он внимательно вглядывался в нее, узнавал Люду, слабо улыбался: «Ты будь с ребятами. — Он уже не мог взять ее руку в свою, не было сил. Но, видя, как она смертельно бледнеет, добавил: — Будь с ребятами, пока я вот тут... Нельзя оставлять театр».

Приходит смерть
И чаще всего застигает врасплох.
Она приходит незаметно, на крыльях ветра —
И человека больше нет.
Есть смерть, которая рассекает воздух
Криками, в которых жизненная тоска, —
И человека больше нет.
Его больше нет среди нас на земле,
Его следы стирают ветры...
И размалывают винты самолетов.
Это тленные следы.
Нетленные часто нельзя увидеть глазами —
Они остаются в людях.

Это стихи Ивара Лейманиса, бамовского поэта, рабочего...

XXI

Рассказывает А. П. Болотов, режиссер, руководитель семинара лаборатории народных театров:

...Порой именно несчастье озвучивает масштаб. Не случись этого пронзительного, недопустимого факта, этой неожиданной и непредсказуемой смерти — может, и не было бы такого прекрасного и справедливого эха?! Может быть. Но дело лишь в степени... Мы все относились к Анатолию с почтением за то, что он успел сделать, собственно, на наших глазах. Где-то там, в Сибири, где нет, по существу, ни жилья, ни тепла, уже есть театр!

Он учился в моей лаборатории почти шесть лет. Двенадцать-пятнадцать встреч, помноженных на четы-

ре дня, но это и годы творческого союза, который не прерывался. Я относился к Анатолию неформально: он был личностью, индивидуальностью. Я выделял в нем эстафетчика, видел в нем соратника — это очень дорого. Хорошо помню его среди наших семинаристов — бородатый, суровый, но при этом удивительно добрый. Толково всегда включался в разговор, толково писал, когда давались задания. Он располагал к себе. Если вдруг опаздывал — мало ли что, погода нелетная, далеко ведь, — я всегда спрашивал: «Где Толя?» И все его ждали, его присутствие было важно, хотя он и был молчаливым, не шибко контактным — настоящий, серьезный человек.

О себе лично он никогда ничего не рассказывал. Говорил о Звездном, о Кичере, вспоминал своих ребят, как они работают, как репетируют. Потом, позже, когда в хронике я увидел эпизоды бамовской жизни, я поразился точности, с которой он все это описал. Изумительно правдивый человек, по тону правдивый. Бывают люди, на воодушевлении прибавят, а на чем-то убавят, кем-то кажутся, кем-то прикидываются, чуть себя улучшают. У Байкова этого не было, если он говорил, то говорил правду, вот что драгоценно и очень подкупает. Мне кажется, и чувствовал он так же цельно.

Знаете, сидят некоторые на торжественной дискуссии — возвышенное, духовное общение, полет мысли, а дома расслабляются, опускаются до «нормальной жизни». А у Байкова второй жизни не было — он был неделим. В этом, по-моему, и кроется секрет его вожаковской приманчивости. Его любили. Его любовью был театр. И Байков был центром этого театра, этого коллектива, его цементирующим и возбуждающим началом.

Он рожден был для театра, для него театр не был компенсацией несостоявшейся мечты: есть актеры, режиссеры, которые пришли в народное искусство, потому что где-то что-то у них не получилось. Для Байкова театр — форма его существования в этом мире. Но при этом театр не ради театра, а театр как средство постижения человеком самого себя.

Он любил людей, которые его окружали. Знаете, тяжелая работа, отрыв от привычной среды — это не просто. Возникал острый дефицит прекрасного, и он наполнял их жизнь духовностью, красотой и деятель-

ностью, потому что люди на БАМе в этом нуждались. Великолепно, когда в мир приходит человек с мечтой, с романтизмом, с некоторой «завиральностью». Такой театр иметь — это же завирально, это «донкихотство». И как все в таком мужике соединялось — очень загадочно! Он корневое существо, и при этом романтик. Земля и небо. Когда сочетаются земля и небо — прекрасно, и в нем это было. Такого иметь рядом — великое дело. Это точка отсчета, это дает вибрацию, заражает.

Уже после смерти Байкова в Новосибирск на семинар приезжали его товарищи из Северобайкальска, показывали фильмы, документы про театр «Молодая гвардия». Я понял тогда — Байкова помнят и будут помнить, его хотят продолжать, потому что его сила украшена и освещена бескорыстием. Он не зарабатывал больших денег, не обладал какой-то узаконенной властью, и сделанное им выросло в акцию духовного размера — это бесценно.

Я размышлял над репертуаром театра Байкова. Это исходная проблема в творческом акте — выбор. Выбор в творческой судьбе — основа основ. И Толя искал в драматургии отклик на личную и общественную боль. У него репертуар болевой. Режиссер прежде всего проверяется на репертуаре. Если в репертуаре человек расчетлив, конъюнктурен, то тут все ясно.

Байков выбирал то, что болит, что необходимо донести до людей. Отсюда Вампилов, Распутин, отсюда его душевная привязанность к Шукшину. Байков сам глубинный человек, человек подлинный, и Шукшин его этим же пленял. Он, как и Шукшин, сын своего народа, сын своего общества, он — русский человек в самом чистом и прекрасном значении этого слова. И порог боли Байков, как мне кажется, ощущал так же, как и Шукшин. Поэтому коллектив с таким упоением работал над пьесами Шукшина. Ведь Байков никогда не был над людьми, он жил в среде единомышленников, и эту среду сам же формировал. Делал это интеллигентно, тонко, может быть, заражая примером своей личности. Он не комплексовал по поводу того, как живет и чем занимается. Он чувствовал, что он на месте; окажись Толя, допустим, даже без театра, он нашел бы форму, как оказывать на людей влияние... Конечно, комплексы здоровые — сомнения, боль интеллигентного человека у него были, но в глав-

ном он никогда не сомневался: чтобы жить по-людски, нужна эстетическая, нравственная база, нужна связь с людьми, нужна любовь.

Как сложилась бы жизнь Анатолия, не случись этого несчастья? В профессиональный театр, я думаю, он не пошел бы, хотя иметь такого человека в профессиональном театре — благо. И при наличии своих успехов он мог бы скоро подняться вверх, на достаточно высокий, истинный уровень.

Вообще в среде режиссеров народных театров выход на профессиональную сцену не является мечтой, они туда не стремятся, это для них не победа. В подавляющем большинстве они культуртрегеры, истинные народники. Они хранят генетический огонь, высоту, веру. Все, а особенно те, которые, как Толя, сумели создать свой театр, где его создать будто бы и нельзя, живут истинным чувством, реализуют себя в истинном общественном служении. В этом смысле ни один высокооплачиваемый артист не может пойти с ними ни в какое сравнение.

Артисты народных театров и не должны соревноваться с профессиональным театром. У них может не быть профессиональной защищенности, оснащенности, но факт искусства будет, потому что есть эмоциональная честность. Три тысячи народных театров в стране. Представляете, сколько сюда вовлечено людей? С государственной точки зрения — это неоценимо... Вот истинная клиника внутреннего духа народа, и руководитель, вожак должен быть вооружен по всем координатам.

Такие, как Анатолий Байков, — фанаты с высокой и доброй идеей, фанаты воистину, потому что на них не так влияет мир меняющихся ценностей, мод, славы. Они могут быть тщеславны и самолюбивы, но это тщеславие и самолюбие не эгоистическое, оно только для того, чтобы отдавать и отдавать другим. И в этом их притягательная сила.

XXII

Через десять месяцев, в конце июня 1984-го, бригада Бондаря подходила к Витиму. Все уже видели — БАМ смыкается, и тревожное предпразднич-

ное напряжение объединило трассу: вслух подсчитывали километры, оставшись наедине, отгоняли мысль: «Неужели все? Через месяц, полтора... К этому шли десять лет, неужели все?» И даже хорошо, что не было времени на лишние разговоры и долгие думы: главное происходило сейчас, с ними, сплетая все жизни в одну, побуждая без устали работать на пределе возможного. За три дня прошли шестнадцать километров, как потом оказалось — рекорд укладки, но все понимали: не в рекорде дело. Казалось, вот-вот случится нечто важное, определяющее судьбу каждого из них, и они ждали это важное, торопили, и вместе с тем не хотелось заглядывать за его черту.

До поселка мостовиков Витим оставалось километра полтора. В пучках света дымился мягкий беззвучный дождь, укладчик шел всю ночь, не останавливаясь, отдыхали только несколько раз по пятнадцать-двадцать минут, пока ждали сцепы со звеньями. В наступавшей тишине, напуганная светом и железным лязгом, глухо кричала близкая ночная птица. «Сова, что ли?» — думал Слава Огородничук, сидя на насыпи и напрасно пытаясь что-либо разглядеть в рыхлой, влажной тьме. Чуть поодаль, положив голову на руки, прислонился спиной к укладчику Бондарь, казалось, он спал, но, может, только казалось. К четырем утра на востоке зарозовела тонкая кайма рассвета, послышались детские голоса, заливистый лай собак, смешанный со звоном посуды. Кто-то крикнул: «Граф! Иди сюда, ребятня завтрак принесла». От детей узнали: поселок не спит всю ночь, готовится к встрече, а их выслали сюда с термосами и бутербродами. Пока пили чай, небо посветлело, солнце еще не взошло, но прожекторы уже были тусклыми и ненужными.

Народ все прибывал: тут были и журналисты, и жители притрассовых поселков, среди всех выделялся кряжистый, седобородый старик, похожий на промысловика, каких было множество в Сибири прошлого века. Он шел неподалеку от укладчика, покряхтывал, щурился, и Бондарь, случайно скосив глаза, подивился: «Откуда дед?» Светло-голубой взгляд старика зорко светился из-под черных еще бровей, на ногу он был легок, шагал широко, и ветерок раздувал его серебряную бороду. Захотелось Бондарю подробнее разглядеть старика, но когда он вновь поднял голо-

ву, то деда уже не было возле укладчика, не было его и в толпе, разрастающейся с каждым часом. Кто это был — охотник, старый путеец или дух самой Сибири, разбуженный громом техники и людскими голосами?

Впрочем, так спешили в тот день, что некогда было задавать вопросы и некогда на них отвечать: все были поглощены стремительным движением вперед, видели только насыпь и рельсы, приближающуюся «вертушку» с готовыми звеньями рельсошпальной решетки. Лишь потом они вспомнят, что, кажется, рядом полыхало сиреневое, заросшее ирисами озеро, то тут, то там всполошно взлетали утиные семейства и пищали утята, не вставшие на крыло. Вспомнят и маленький букетик голубоватых, похожих на ландыши цветов, неуклюже засунутых широколицым мостовиком в отверстие на укладчике.

Когда рельсы легли на мост и внизу, искрясь и бурля, проносился Витим, успел ли кто-нибудь из них посмотреть на тот берег, ища глазами валун, на который когда-то вспрыгнул Байков и, размахивая рукой, закричал: «Вот он, Витим! Я его первым перебежал!» Тогда вокруг был черно-белый, окаменевший морозный пейзаж, и ничего сейчас не узнавалось — все было другим, и они были другими. Теперь время было спрессовано донельзя. Как никогда они жили только настоящим — но еще долго в бронепоезде у портрета Анатолия стояли в банке сиреневые цветы с Витима...

Июль, август, сентябрь 1984-го — неповторимое для них время: сошли несобранные ягоды, вспыхнула и отгорела ранняя осень, кончался листопад, пошли заморозки. Но был и другой календарь — бригады Бондаря и Варшавского двигались навстречу друг другу, и расстояние между ними все сокращалось, исчисляясь сначала сотнями, а потом десятками километров. К разъезду Балбухта — месту рабочей стыковки — бондаревцы пришли на два дня раньше Варшавского: по обходу не успевали поезда со сцепами.

Хрустели ломким ледком лужи, лиственницы стояли голые, только самые молоденькие еще не отряхнули иголку и пушились в общем ряду. Вроде бы настал для Бондаря и его бригады долгожданный час отдыха, но напряжение не отпускало. Все почему-то искали работы и обрадовались, когда их послали в Куанду сделать стрелки и запасные пути. В Куанду

решено было привести поезда с почетными гостями с Западного и Восточного участков, там же планировался и торжественный митинг. Когда бондаревцы вернулись на Балбухту, до подхода путеукладчика Варшавского оставалось меньше суток. Везде, куда ни глянь, горели костры, но приходили новые и новые группы — это были дорожники, мостовики, тоннельщики из Сюльбана, Куанды, Витима, Таксимо... — все те, кто вместе с ними шел к этому дню. За пятьсот километров, бросив все дела и оставив детей у знакомых, приехали из Кичеры жены. И хотя все знали, что праздник «золотого звена» будет в Куанде, в двадцати километрах отсюда, первого октября, каждый хотел увидеть своими глазами именно ЭТОТ миг. Всю последнюю ночь никто не спал, гитарный перебор не умолкал ни на минуту. Дождь расходился и прекращался, в тайге гудел уже по-зимнему жесткий ветер, но никто не замечал ни промокших сапог, ни ударившего под утро морозца. «...Снегом душит костер, варится суп с консервами — скажут про нас потом: были ребята первыми...» — густым простуженным голосом напевал под гитару тот самый широколицый мостовик с Витима, что воткнул в бондаревский укладчик крохотный голубенький букетик. А рядом действительно трепало ветром костер, дымился суп с консервами, и Бондарь уже дважды приходил его пробовать, но ему говорили: «Подожди, сейчас доварится...» И он, вздохнув, уходил к своим ребятам, которые под руководством бригадного поэта Генки Титова трудились над самодельным памятником. Это была Генкина идея: поднять навстречу друг другу два железнодорожных звена и на каждой шпале написать название поселков с западного и восточного направления. И теперь выводили белой краской: Звездный, Северобайкальск, Кичера, Уоян, Таксимо, Витим... — и в душе творилось такое!..

И вот наступило 29 сентября 1984 года — низкий, пасмурный, промозглый день. Разъезд Балбухта, 877-й километр трассы. Видимое расстояние между укладчиками Бондаря и Варшавского сократилось до двадцати пяти метров, все замерли, подались вперед — забит последний костыль, сшито последнее звено, сорваны каски, вскинуты руки, и людские волны дрогнули, рванулись, смешались. Кто-то налил в каску шампанское, и каска поплыла по кругу, к ней тя-

нулись ладони, каждый хотел, как из братины, отведать глоток победы... Говорили, смеялись, плакали все вместе, одновременно сказывалась усталость последних недель, и главное, главное, невозможно было поверить: все?!

Не доставая платка и не вытирая слез, неподвижно стоял в толпе Шалямов. Его развернул к себе высокий усатый грузин в оранжевом путейском жилете, тряхнул за плечи: «Поздравляю, дядя!» — и глаза парня блестели, а губы дрожали. И откуда-то из меняющейся и движущейся людской волны явился широколицый мостовик, облапил и Шалямова, и оранжевый жилет и пробурчал: «Прости, батяня!» А рядом летели в воздух ушанки, и рыдал Бондарь, закрываясь рукавом от телекамеры. А потом Бондарь стоял, обнявшись с Варшавским, но их никто как бы не замечал. Кто стоял, кто сидел, у одного в руке был зажат «золотой костыль», у другого гвоздь, который он только что вытащил из трибуны, третий начинал что-то говорить, смеялся, тряс головой и опять начинал говорить, сбивался, у ораторов срывались голоса, корреспонденты не могли брать интервью...

Какой-то журналист пробрался к Бондарю, что-то объяснял, улыбался, стучал пальцем по микрофону. И Бондарь улыбался, отталкивал ладонью микрофон, и те, кто был в ту минуту возле них, как и они, не понимали, что журналист говорит не по-русски, а Бондарь ему отвечает: «Потом, потом», — и в его голосе особенно силен мягкий украинский акцент... Вернулась каска, шампанского там осталось совсем немного, каску протянули журналисту, и он пил, и руки у него дрожали...

«Я не знаю, что такое победа, но это близко к тому, что пережили солдаты в сорок пятом. Как в сорок пятом думали, вот победа — и наступит рай на земле, так и тогда, на Балбухте», — уже после скажет Бондарь и махнет рукой.

Да, был такой праздник в конце сентября, среди тайги, на разъезде Балбухта. И шел с гитарой бамовский бард, и тот, кто оказывался близко, подхватывал: «Вот и все — сомкнулось полотно, и последний выложен портал. Золотое светится звено, ты об этом столько лет мечтал... И когда оркестр громом брызнет,

я пойму, что в ливнях и пыли лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя нашли».

А на укладчике бондаревцев стоял большой портрет Анатолия Байкова и крупными, не везде ровными буквами было написано: «Толя! МЫ ДОШЛИ!»

ЭПИЛОГ

XXIII

30 июня 1985 года Байкало-Амурской железной дороге присвоено имя Ленинского комсомола. В эти дни мы были в Северобайкальске и зашли на праздник в клуб «Дружба». Театр «Вдохновение» получил звание народного, и ему вручали хрустальный кубок имени Анатолия Байкова. Кубок, купленный бригадой Бондаря и учрежденный как приз за лучший спектакль, «раскрывающий социалистический образ жизни»...

Горячие самовары, пироги величиной с противень и по-бамовски распахнутые двери: заходи каждый, кто хочет заглянуть на огонек. Нам дали мягкий, прогибающийся от тяжести пирог, который с большой осторожностью мы везли к Люде Байковой.

Десятый час вечера, но июньские сумерки на Байкале долгие и белые. Смотрели по атласу — широта Киева, откуда же тут белые ленинградские ночи? Как и все на свете, этот феномен имеет твердую научную основу, но почему-то хочется, чтобы все оставалось не до конца обозначенным и объясненным. «Объяснить все, в том числе и самому себе, — верное средство стать скучным», — утверждали мудрые... И не будем ничего ни у кого спрашивать, просто посмотрим на вечернюю густую синеву Байкала, на слепящее латунное небо, подсвеченное невидимым солнцем, ушедшим за черный островерхий хребет. «Мой город, ты родился среди гор, Байкал тебя крестил у колыбели...» — вслед за бамовским поэтом здесь каждый может повторить: «мой город». И за этим судьба.

На квартире у Люды Байковой уже собралась бригада Бондаря, кто был в это время в Северобайкальске; кстати, и ходить-то им далеко не при-

шлось — живут они в одном доме. Все, кто остался здесь после стыковки... Некоторые уехали, но не о них речь. Мы сидели в тесном кругу бондаревцев, где то и дело слышалось: «Саша, помнишь? Валентина, помнишь? Наташа, Ярослав, Миша... вы, конечно, помните?» Можно толкнуть товарища локтем, сказать: помнишь? И он ответит. Это, наверное, и есть счастье — самая надежная его форма...

— Как мы познакомились? Толя приехал в Звездный заведовать клубом. Любаня, жена моя, ходила репетировать «Город на заре» Арбузова, спектакль, приуроченный к годовщине высадки первого десанта на БАМе, — Бондарь без пиджака, держит чашку с чаем, но начинает говорить, ставит чашку на стол. Ему нужны свободные руки, свои слова он должен подчеркнуть жестом, чтобы все, кого тогда не было с ними, могли понять и представить, как они жили и что в этой жизни было такого. Теперь они живут вместе, как и мечтали когда-то, в благоустроенном пятиэтажном доме, торцовые окна которого выходят на строящееся депо узловой станции Бурятского участка БАМа — Северобайкальск. Рассказывают, что в списках на трехкомнатные квартиры фамилия Бондаря стояла первой. Он зачеркнул себя и написал: Байкова Людмила...

— Любаня репетировала, а я ждал. Вечер, другой. Поброжу, в теннис постучу, слушаю, как Байков объясняет; если получается, все счастливы, о времени никто не вспоминает. Двенадцать, час ночи, два... И мне захотелось. Казалось, вот выйду на сцену и вмиг сыграю. Не мог больше со стороны... Но, конечно, само собой, не получилось, пришлось учиться...

Люда ушла укладывать детей, и Наташа Огородничук разливала чай:

— Сначала мы учились жить и говорить на сцене и думали: учимся играть, но потом поняли — мы учились жить, честно, без самодовольства, прислушиваясь друг к другу.

Из краника самовара капала вода, кто-то встал, осторожно прикрутил.

— Трудно этому научиться, трудно, по крайней мере раз и навсегда не научишься... — это сказал ее муж, Слава Огородничук. Сейчас он возглавляет бригаду, а Бондарь стал мастером.

— Я же говорю — учились... — тихо повторила Наташа.

— Теперь без Толи театр не может существовать в прежнем качестве. Нужно искать новые формы... Он никогда не повторялся, умел уловить индивидуальность каждого момента. Вряд ли сможем так? — Бондарь посмотрел на Людмилу Киселеву. Она кивнула:

— Трудно... — Киселева имела право произнести это «трудно»; она приняла театр «Молодая гвардия», и вместе с режиссерством ей как бы передали эстафетную палочку, еще хранившую тепло его руки.

Вошла Люда со свежей заваркой, поставила аккуратно чайник на салфетку, вернулась из кухни со сладкими сухарями.

— Она сама сделала ремонт в квартире, — улыбнулась Валентина Гирько. — Посмотрите, хорошо, а? У нас не так просто что-нибудь для ремонта купить...

И пошел разговор о краске, обоях, о том, что на Байкале все еще холодно, плавает «шаховый» лед — метровые игольчатые сосульки, взвешенные в чистой воде, о премьере их нового спектакля, репетиции которого шли на квартире у Люды Байковой, о том, что они уже не могут после пяти вечера прийти домой, включить телевизор и сидеть так допоздна, что образовался особый голод, да, голод... Сложный период в жизни этой бригады (по привычке так и хочется назвать ее бондаревской), как, впрочем, и у всех тех, кто остался на БАМе налаживать нормальный быт и производство. Не менее сложный, чем тогда, в Звездном, когда забивались первые колышки для палаток. Облетели лепестки газетного ажиотажа, поутихли громкие речи на собраниях, когда разрезались красные ленточки, люди плакали и обнимались, а на каждую бригаду строителей приходилось по бригаде телевизионщиков и «киношников». Собрания теперь все чаще приобретают деловой, резкий и озабоченный характер, что греха таить, немало дров наломали в спешке, и нужно не только заделывать прорехи, но и строить будничную размеренную жизнь: со школами, поликлиниками, столовыми, молокозаводом, домами отдыха, наконец, с консерваторией и театром. По существу, заботы земли, по которой прошли рельсы БАМа, только начинаются, и люди, принявшие на себя эти заботы, сидели полукругом у небольшого сто-

лика и старались говорить тише — в соседней комнате спали Настя и Юлька.

— Работаем, — говорил Александр Рапопорт, — секрет нам давно ясен: уши у шапок вверх, и так жарко, а если уши на подбородке завяжем, то какая тут производительность.

— Сейчас, минутку, — Толя Симонов указал на телевизор. — «Ревизор», как раз тот кусочек, что мы ставили.

Наступила тишина, они ловили интонацию, прислушивались к репликам, внимательно следили за тем, как актеры двигаются по сцене.

В этот вечер расстались, когда звезды сошли и над Байкалом разлилась розовая утренняя заря. Расстались, так и не договорив, потому что каждый из них помнил и знал своего Байкова и хотел рассказать именно о нем.

И продолжается жизнь, и в ней накоплено множество всяких знаний, но самый бесценный опыт — это судьбы таких людей, каким был Анатолий Байков. Их нельзя повторить, как невозможно повторить всякую жизнь, и каждый должен проложить свою дорогу сам. Вот и Байков прошел по земле, оставив прочную вешку, а за ним идут друзья, единомышленники, идут дочери, и каждому, кто честно относится к жизни, достанется эта дорога, которой нет конца.

Пришла мысль, что, когда человека нет, он умер, люди, рассказывая о нем, пытаются придать своему рассказу законченность; эта законченность не в событии как таковом, а в неизменности личности, которая как бы разгадывается, как будто смерть может быть разгадкой жизни...

* * *

Постановлением ЦК ВЛКСМ Байков Анатолий Сергеевич (посмертно) занесен в Книгу почета ЦК ВЛКСМ — за активное участие в сооружении Байкало-Амурской магистрали, большой вклад в организацию культурно-массовой работы среди строителей трассы.

В поселке Звездном есть новая, в пять домов, улица — улица Анатолия Байкова.

Разъезд Окусикан переименован в разъезд Байкова.

СОДЕРЖАНИЕ

О человеке, который умел жить *Р. Рождественский* 5

ЧАСТЬ I 9

ЧАСТЬ II 71

ЧАСТЬ III 147

ЭПИЛОГ 187

Каширская В. Б., Шубина Т. Г.
К31 Он вчера не вернулся из боя... /Предисл. Р. Рождественского. — М. : Мол. гвардия, 1987. — 191[1] с., ил.

65 к. 75 000 экз.

Документальная повесть рассказывает о нашем современнике, молодом строителе БАМа Анатолии Байкове, чья короткая, но яркая жизнь является для юношества впечатляющим примером честного, требовательного и бескомпромиссного отношения к своим делам и поступкам. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

К $\frac{4702010200-137}{078(02)-87}$ КБ—045—039—86 ББК 84Р7

ИБ № 5421

Виолетта Борисовна Каширская,
Татьяна Георгиевна Шубина

ОН ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...

Зав. редакцией **В. Черников**
Редактор **Н. Норбеков**
Художники **И. Калиниченко, И. Леонов**
Художественный редактор **Е. Кондратенко**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **Е. Сахарова, Т. Пескова**

Сдано в набор 15.11.86. Подписано в печать 01.04.87. А01746. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,08+1,68 вкл. Усл. кр.-отт. 12,44. Учетно-изд. л. 11,7. Тираж 75 000 экз. Цена 65 коп. Зак. 1952.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.